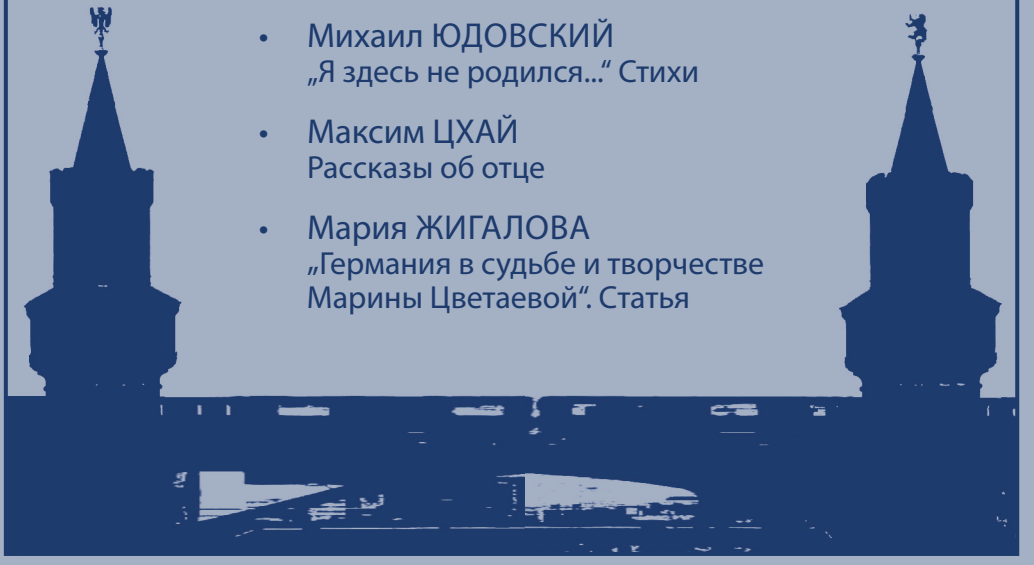
№ 4 (№ 1/2017)

# БЕРЛИН.БЕРЕГА

Литературный журнал Literaturzeitschrift BERLIN.BEREGA

*В номере:*


- Владимир КАМИНЕР
  „Жизнь после острова“. Рассказ
- Михаил ЮДОВСКИЙ
  „Я здесь не родился...“ Стихи
- Максим ЦХАЙ
  Рассказы об отце
- Мария ЖИГАЛОВА
  „Германия в судьбе и творчестве Марины Цветаевой“. Статья

**Редакция / Redaktion:**

Главный редактор/Chefredakteur: **Григорий Аросев / Grigorii Arosev**
Редакторы/Fachredakteure:
Поэзия / Poesie: **Женя Маркова / Genia Markova**
Проза / Prosa: **Дмитрий Вачедин / Dmitry Vachedin**
Переводы / Übersetzungen: **Эдуард Лурье / Eduard Lurje**
Художник / Illustrationen: **Лилия Лурье / Lilia Lurje**
Связи с общественностью / PR: **Катерина Ульверт / Katerina Ulvert**
Тексты на немецком языке / Deutsche Texte: **Герд Буссинг / Gerd Bussing**

Вёрстка / Layout und Satz: **Мария Аросева / Maria Aroseva**
Herausgegeben von der Redaktion der Zeitschrift

---

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detallierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar

Diese Zeitschrift ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urhebergesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Gesamtherstellung: Simon Verlag für Bibliothekswissen,
Riehlstrasse 13, 14057 Berlin, Deutschland
www.simon-bw.de / **www.berlin-berega.de** / berlin.berega@gmail.com

Druck und buchbinderische Verarbeitung Buchbinderei Art-Druk, Stettin
ISSN 2366-3510

Copyright © 2017 Simon Verlag für Bibliothekswissen, Berlin
Copyright Texte © 2017 liegt bei Autoren

Alle Rechte vorbehalten

# Содержание

## ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

МИХАИЛ ЮДОВСКИЙ — **“Я здесь не родился...“**, стихи ..... 5
НАТАЛЬЯ БРАЗОВСКИ — **Пятое измерение**, стихи ..... 9
ВАСИЛИЙ ЦИТТЕЛЬ — **#сэлфи**, стихи ..... 11
ВЛАДИМИР КАМИНЕР — **Das Leben nach der Insel/ Жизнь после острова**, рассказ ..... 16
АЛЕКСАНДР СНЕГИРЁВ — **Две тысячи двадцать второй**, рассказ ..... 24
ТАТЬЯНА ДАГОВИЧ — **Les droits de l‘homme — права человека**, рассказ ..... 26
АНДРЕЙ ДИТЦЕЛЬ — **Летнее расписание**, стихи ..... 34
АНЖЕЛИНА ПОЛОНСКАЯ — **Чернее белого**, стихи ..... 38
МАКСИМ ЦХАЙ — **Рассказы об отце** ..... 42
АЛЕКСАНДРА АРТАМОНОВА — **Отметины; Дед**, рассказы ..... 64
ИРИНА ЛИБЕРМАН — **Место действия**, стихи ..... 76
ТАРАС ФИСАНОВИЧ — **„Давай, мой друг, поговорим...“**, стихи ..... 79

## ДЕБЮТ

КСЕНИЯ ЛАПИНА — **Интервью**, рассказ ..... 84
АНДРЕЙ ЗЯТКОВСКИЙ — **Пыль земли**, рассказ ..... 91
ДАРЬЯ ЭККЕРТ — **Зверь**, рассказ ..... 101

## ПЕРЕВОДЫ

РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ — **Женская судьба, Девичьи жалобы,** перевод Сергея Страхова ..... 104
ГОТФРИД БЕНН — **„Слово, фраза...“,** перевод Сергея Страхова ..... 106

КУРТ ТУХОЛЬСКИ — **Прощание с холостяцкой жизнью,** перевод Сергея Страхова ..... 108
ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЁТЕ — **„Америке легче...“, Нашёл,** перевод Сергея Страхова ..... 110

## ПУБЛИЦИСТИКА, КРИТИКА, НОН-ФИКШН

АЛЕКСАНДР ТАРАНОВИЧ — **Поэма о бабьем лете**, романтическое эссе ..... 112
АЛЕКСЕЙ МЕДВЕДЕВ — **„Патетическая симфония“, биографический автобиографический роман Клауса Манна**, статья ..... 123
МАРИЯ ШЕВЦОВА — **О новозаветных мотивах в романе В. Набокова „Машенька“**, статья ..... 140
МАРИЯ ЖИГАЛОВА — **Германия в судьбе и творчестве Марины Цветаевой**, статья ..... 144
ФРАНК ТРАЙБМАН — **Маленькое счастье на реке**, рецензия на книгу Гузель Яхиной *Suleika öffnet die Augen* ..... 159
СЕРГЕЙ ШАБУЦКИЙ — **Сапёр в царстве мёртвых**, рецензия на книгу Александра Дельфинова *#TriggerWarningPoetry* ..... 162

## МОНОЛОГ

ИРЕНА ЦЕРБСТ-БОРОФФКА — **„Не пишите больше, мы тоже больше не будем писать“**, рассказ о книге „Жизнь и труды Грегора Бороффки“ и о её героях ..... 167

## ТЕАТР

ГАЛА УЗРЮТОВА — **Dummerchen**, монопьеса ..... 181

**Сведения об авторах** ..... 197

**Kurze Zusammenfassung** ..... 204

**Информация о подписке** ..... 207

## Михаил Юдовский

* * *

Я здесь не родился, я здесь не умру,
я разве что тихим дыханьем своим
над лесом и полем пройдусь поутру,
едва ощутим и едва уловим.

Мне тесным покажется здешний приют,
мне близким нездешний покажется свет,
и встречные птицы мне что-то споют,
и я им спою непременно в ответ.

Я буду нигде и я буду везде.
Звезда покачнётся, упав из гнезда.
«Шолом», — улыбнусь я упавшей звезде.
«Лехаим», — негромко ответит звезда.

* * *

Камень прыгает по воде,
как солнце по лысине Будды.
Мы идём на поклон к золотой орде
и приносим ей дань: сосуды

с оливковым маслом, молодым вином
крымской черешней и собственными сердцами.
Время есть подумать о земном —
после представим себя творцами

вселенной, размером с настольную игру.
Становясь то горней, то дольней,
время в нас мечет икру —
за неимением молний.

Ты не бойся — обопрись на моё плечо.
Всё приемля и всё отвергая,
мы посмеёмся над этой жизнью ещё —
если будет другая.

* * *

Птицы машут крыльями, потому что всё время прощаются —
с лужайкой, по которой шагали, с веткой, на которой сидели.
Птичье прощание так огромно, что не помещается
в птичьем сердце и во всём птичьем теле.

Я не знаю, на какой очутился ветке,
на какой приземлился лужайке, к какому прирос карнизу.
Говорят, птицы могут жить и в клетке —
поменяв оперение на смирительную ризу.

Можно смирить не только дух, но и тело,
молча заглатывать воду, поклёвывать зёрна,
ибо мир не всегда выглядит чёрно-бело —
иногда он выглядит бело-чёрно.

* * *

Я говорил ему: «Брунеллески,
ты строишь прекрасные храмы,
я отлично рисую фрески.
Фрескам не нужно рамы,
что ставит их выше холстов.
Как животное не сводится к мясу,
искусство — это сотни пластов,
склеенных в единую массу.
В нашей Флорентийской республике,
где правят герцоги-меценаты-купцы,
икру намазывают на бублики,
когда не хватает мацы».

В тысяча девятьсот девяносто восьмом году,
бродя по флорентийским улицам и переулкам,
я точно знал, куда я иду —
наша память разложена по шкатулкам
фрагментами. Ты достаёшь их, и мир
складывается в паззл — единый и целый.
На одной из улиц я заглянул в трактир —
то есть кафе. Бармен, усатый и загорелый,
налил мне эспрессо. Хотел меня обсчитать,
приняв за лоха и иностранца.
Я хотел сказать ему: «О флорентийский тать,
узнаю истинного тосканца!»

Вместо этого произнёс: «Брунеллески,
ты прекрасно готовишь кофе,
я при помощи топора и стамески
делаю кресты и продаю — на Голгофе.
Эка жизнь нас поразбросала,
стасовав державы, опрокинув троны...
Я подсел на горилку и сало,
ты по-прежнему трескаешь макароны.
А помнишь, в нашей Флорентийской республике,
где правили герцоги-меценаты-купцы,
икру намазывали на бублики,
когда не хватало мацы?»

Тот посмотрел на меня, как на безумца,
отсчитал мне сдачу — до последней лиры,
посоветовал уйти и не вернуться,
торговать собою, сочинять верлибры,
утопиться в Арно, а свои гротески
приберечь. Я думал, шагая прямо:
«До чего же скурвился Брунеллески...
Как же низко пала Флоренция-мама...
Время сжалось, стали века короче —
вошью в кармане, блохой на аркане...»

На ступенях базилики Санта-Кроче
пёстрым табором расположились цыгане.
И один из них, чадо всех республик,
кочевавших по свету — неторопливо, с ленцой,
мне намазал икру на горячий бублик
и — если бы мог — угостил мацой.

* * *

Приласкай перелётными пулями мне виски,
говори со мною на языке тоски,
потому что тоска — хребет вдохновения.
Я буду слушать тебя, сам не свой,
как собака, к небесам поднимая вой
и в ответ получая благословение.

На окраинах лается легче псам —
мёд луны течёт по усам, по песочным часам
пустырей, по экватору мусорных свалок.
В этом месте прекращает вращенье Земля,
обрываются полосы, и ты, словно хвост шмеля,
становишься жалок.

Но покуда — жужжишь и порхаешь с цветка на цветок,
с юга на север, с запада на восток,
тучно и скучно, прозрачно и полосато.
Явь, опротивев себе, превращается в сон,
с моря на берег дует жидомуссон
в ожидании жидопассата.

Наталья Бразовски

## Вымолчим в строках

Вымолчим в строках раскрытие звука,
там, где в сердцах распускается купол
неба. И в гласных пульсирует ветер
млечных картин... Как расписаны медью
наши мечты на рубашке вселенной...
Вымолчим, как превращается в пену
твой океан на усталой странице,
то, как однажды я сделалась птицей,
кто подарил мне заветные крылья,
как я пришла по космической пыли...
Вымолчим в строках.

## Звёздное

Разорванная нитка звёздных бус,
Да небо, что застыло на ветру, —
Я прежде принимала и приму
Из вечных рук.

Неведомой — случайно я войду
В твой тихий непорочный светлый дом —
Мне время написало на роду
Святой водой.

Зачитанная Книга Бытия.
Что помнит переплёт её страниц? —
Как в сердце умещается Земля
И стаи птиц...

Что север — только память от креста,
прошла я миллионы лет и вёрст.
А мне всего лишь хочется достать
Щепотку звёзд.

## Вода

Налей в бокал иллюзий, просто пей
осеннее вино глотком рассвета.
Смотри, как исчезает бабье лето,
и ночи ускользает скарабей.
Всмотрись в глаза рассвета, в этот дым —
под крылышко прекрасной Немезиды,
как мимо проплывают атлантиды,
и в лодке неба вслед за ними ты.
Налей в бокал иллюзий. Всё — вода...

Ты чувствуешь, бегут по венам реки
и вечность застывает в человеке —
На время,
на мгновенье,
навсегда...

## Весеннее

Я удивительно открыта
тебе и красному восходу,
и журавли с моих открыток
пьют неба воду.

Качают ветры на ладони
Все наши мысли — света, утра.
И глас врастает в колокольни
Звенящим чудом.

Я приближаюсь к переправе,
Где только солнечная мирра,
И в позолоченной оправе —
Сердечко мира...

## Amsterdam

в Амстердаме кривые дома и укуренные туристы
цапля летит над каналом нечистым

на катерах люди спят или смотрят в айпод
девушки на улицах как на показе мод

на сигвеях морскими коньками проносятся немцы
я сижу на скамейке вырезаю сердце

стрелу и надпись Нина плюс Вася равно
не успеваю закончить слишком темно

мужик на мосту удит свои сэлфи-фото
у туристов просто такая работа

чем больше фоток себя тем дольше живётся
с помощью сэлфи можно остановить солнце

я сделал фото надписи *love me*
больше ничего не нужно от любви

## Apeldoorn

Апельдорн просто точка на карте
в Апельдорне я думал о Сартре
просто меня немного тошнило
чуточку выпил пока были силы
потом ни сил ни вина телефон не пашет
отражаюсь в витрине нет меня краше
лыс бородат говорю с акцентом
даже подали несколько центов

наверное пора что-то менять
хорошо передвину в отеле кровать
носки переброшу в угол другой
всё поменялось я опять молодой

## Utrecht

Утрехт город иностранцев и стариков
на каждом заборе написано *fuck off*
серые мрачные заросшие каналы
по ним плавают утки-каннибалы
толстые женщины снуют от лавки к лавке
я бы накалывал их как бабочек на булавки
собрал бы коллекцию подарил бы музею
толстая женщина она ведь как фея
только крылья как у летучей мыши
и при полёте с одышкой дышит
чтобы забыться я выпил немного грольша
в Утрехт я не поеду больше

## %%%

Я в колодцы людские подсыпаю яд
Вечером смотрю пусть говорят
Разрываю матрёшек на две равные части
Возбуждаюсь от матрёшкиного несчастья
Слюной на зеркале рисую смайл
Муха за стеклом неужели май
Говорю с людьми но они лишь тексты
Сорок женихов у моей невесты
Каждый посвящает ей свои вирши
Невеста же думает как там бывший
А бывший на дуде играет читает жнёт
А у бывшего тексты как тёмный мёд
У бывшего борода золото с серебром
Бывший пьёт виски водку бром
А я как бог что пою то и вижу
Красивый богатый чуточку бесстыжий

* * *

люди не любят калек
калеки не любят кошек
внутри у калеки снег
замёл лесные дорожки

и я ухожу в леса
мне тошно среди здоровых
там буду стихи писать
с восьми и до полвторого

с двух до семи наблюдать
как ветки трутся о ветки
в восемь залягу в кровать
свернусь варёной креветкой

буду лежать коченеть
не спать не дышать не плакать
панцирь мой мягок как медь
под панцирем снег и слякоть

’’’

у женщины должен быть красивый голос
такой чтобы услышал и сразу да
такой чтобы неважно какая фигура
какой нос глаза и прочие прелести
такой чтобы аллё в трубке
заставляло тебя вальсировать
в одиночестве в ночном парке
чтобы листья на мокром асфальте
казались мерцающими звёздами
неважно что ты пьян и тебя шатает
звук её голоса — пуховое одеяло
обволакивает делает из тебя кокон
лежишь там превращаешься в бабочку
а в ушах аллё аллё аллё

:::

дерево растёт не по дням а по кругам
в круге первом как правило сердцевина
в круге втором рожает сына
пауза дерево глаголет аз воздам
сын сбегает берёт новое имя Буратино
в круге третьем бурный рост наверх
карьера деньги стройные секретарши
в круге четвёртом дерево становится старше
но у ворон и бе́лок имеет успех
качает ветвями под бравурные марши
в круге пятом думает о судьбе
себе боге вступает в секту
свидетелей поклонения древесному объекту
заводит дружбу с резчиком по резьбе
в круге пятом резко меняет вектор
начинает пить бузить свежую поросль трахать
седина в листву бес под кору и в корни
на претензии лесников мат отборный
и всё из-за банального страха
что вот уже на коре морщины
глубиною где-то по пояс белкам
пила на соседнем пне визжит *you're welcome*
дерево всю жизнь старалось быть мужчиной
в кругах седьмом восьмом девятом
просто стоит ветки сухи и ломки
вот-вот упадёт некому постелить соломки
вместо сердца дупло на радость дятлам
от дерева нет никакого толку

Wladimir Kaminer

# Das Leben nach der Insel

*«Ach Liebes, lass mich Dir von Sachalin erzählen»*
*ein berühmtes sowjetisches Geologenlied*

Als kleines Mädchen hat meine Frau Olga viele dicke Bücher gelesen, die sie langweilten. Sie las trotzdem jedes Buch zu Ende. In diesen Büchern, bildete sie sich ein, sei die ganze Weisheit der Welt zu finden, die sie für später brauchte. Sie musste sich schließlich auf das Leben nach der Insel vorbereiten.

Geboren und aufgewachsen auf der Insel Sachalin, wusste sie bereits im Kindergarten, sehr bald wird der Tag kommen, dass man sie aufs Festland schicken würde. Alle Kinder auf Sachalin wurden nach der Schule aufs Festland geschickt, sie hatten auf der Insel nichts mehr zu tun. Ihre Eltern, die meisten waren Geologen, blieben und arbeiteten weiter, sie schickten ihren Nachkommen regelmäßig Unterhaltsgeld, damit diese Kinder des Nordens in den Großstädten des Südens ein schönes Leben hatten, sich weiter bilden oder sich einen ordentlich hinter die Binde kippen konnten.

Die meisten dieser Kinder wollten nach Moskau in die Hauptstadt oder in das milde Jalta, meine Frau zog es in die Stadt mit dem miesen Wetter, nach St. Petersburg. Diese von Peter dem Größten in den Sümpfen gebaute Stadt galt im Bewusstsein vieler als die Wiege der Kultur und der Kunst: Russlands Fenster nach Europa. Dort wollte Olga glänzen, die Snobs in den Salons und Clubs mit ihren Kenntnissen der Weltliteratur überraschen. Sie musste, wenn sie dort ankommt, bereits alles gelesen, gehört und gesehen haben. Ihr peinlichster Alptraum war damals, dass jemand in St. Petersburg, ein schöner Mann vielleicht, sie nach ihrer Meinung zu einem Buch fragen würde und sie hatte es nicht gelesen. In ihrer Vorstellung sollten sich die Petersburger in erster Linie für französische Romane interessieren. Deswegen hatte Olga als junges Mädchen be-

Владимир Каминер

# Жизнь после острова

*«Ну что тебе сказать про Сахалин?»*
*Знаменитая советская песня геологов*

Ещё в детстве моя жена Ольга прочитала много толстых книг, которые повергали её в состояние тоски. Однако она дочитывала каждую до конца. В этих книгах, полагала она, можно отыскать всю мудрость мира, которая ей была нужна «на будущее». Ольга в результате должна была себя подготовить к жизни после острова.

Рождённая и взращённая на Сахалине, она уже в детском садике знала, что очень скоро настанет тот день, когда её отправят на «материк». Всех сахалинских детей по окончании школы посылали на материк — на острове им было нечего делать. Их родители — по большей части геологи — оставались там и работали дальше, они регулярно переводили своим потомкам деньги, чтобы северные дети и в южных городах жили припеваючи, обучались и, как полагается, могли пропустить стаканчик.

Большинство этих детей стремились в Москву, в столицу, или в мягкую климатом Ялту, но моя жена уехала в город отвратительной погоды — в Санкт-Петербург. Этот Петром Первым основанный на болотах город слыл более, чем просто колыбелью культуры и искусств: российским окном в Европу. Ольга хотела там блеснуть, удивляя снобов в салонах и клубах своими знаниями мировой литературы. Она не могла представить себе ничего ужаснее, чем ситуация, когда в Санкт-Петербурге кто-нибудь, возможно, привлекательный молодой человек, спросит её о какой-нибудь книге, и окажется, что она её не читала. Как она думала, петербуржцы должны в первую очередь интересоваться французскими романами. Поэтому Ольга, ещё будучи юной девушкой, изучила романы и новеллы Эми-

reits tausend Romane von Emile Zola, Honore de Balsac, Guy de Maupassant, Prosper Merimee, Alphonse Daudet und Victor Hugo studiert. Den letzteren konnte sie besonders wenig leiden. Dieser französische Strudel von Notre Dame, ein geschmolzenes Liebesfünfeck aus Behinderten, Zigeunern, Offizieren, Predigern und Banditen, die ständig übereinander herfielen, irritierte sie sehr. Und doch, wenn jemand käme und sie fragen würde: „Wie hieß die Ziege von Esmeralda?“, hätte sie sofort den richtigen Namen gewusst.

Mit sechzehn Jahren war Olga nach St. Petersburg gereist, sie hat dort schnell die vornehme Gesellschaft gefunden, sie verkehrte in Clubs und Salons, sie freundete sich mit Malern, Musikern, Dichtern und Theatermachern an, doch niemand fragte sie nach der Ziege. Die meisten interessierten sich für Sachalin, sie fragten, ob es tatsächlich dort das ganze Jahr über so kalt und dunkel sei, dass die Menschen wie Bären in Winterschlaf fallen und deswegen alle drei Stunden von Sirenen geweckt werden müssen. Ob es stimme, dass die Bären, die zu früh aufwachen, als Frühaufsteher beschimpft werden, man fluchend sage, „Der Frühaufsteher soll Dich holen“, und ob man wirklich bei guter Sicht die Felsen von Japan sehen könne.

Einige Jahre später beschloss Olga mit ihrem damaligen Freund Russland zu verlassen und nach Deutschland zu ziehen. Sie hatte große Hoffnungen, was Deutschland betrifft. In ihrer Vorstellung sollte dieses Land die Heimat der europäischen Kultur sein, ein Land, bevölkert von Dichtern, Denkern und Menschen, die die schönen Künste über alles schätzen, jeder Bürger würde Schiller und Goethe auswendig kennen, vorm Schlafengehen Kleist lesen und Brecht deklamieren, an Feiertagen vom Balkon. So ungefähr stellte sich Olga Deutschland vor. Bevor sie auf die Reise ging, beschäftigte sie sich ausführlich mit der deutschen Literatur, Geschichte und Musik, sie wollte sich schließlich nicht blamieren. Olga fand Brecht sehr oberflächlich, Nietzsche bezeichnete sie als einen Teenager-Philosophen, Thomas Mann entpuppte sich in ihren Augen als ein unglaublicher Langweiler. Nicht umsonst sagte der russische Dichter Pasternak über ihn, dort wo man ein Wort von zehn wählen und aufschreiben soll, schreibt Mann alle zehn auf und kaut sie auch noch nach. Doch Olga wollte auf die deutsche Kulturgesellschaft vorbereitet sein. Sie hatte sich alle Opern von Wagner reingezogen, die

ля Золя, Оноре де Бальзака, Ги де Мопассана, Альфонса Доде, Проспера Мериме и Виктора Гюго. Последний вызывал у неё особую тоску. Бурление французских страстей вокруг Собора Парижской Богоматери, расплавленный любовный пятиугольник с участием инвалида, цыгана, офицера, священника и бандита, которые постоянно конфронтировали между собой, сбивали её с толку. Но всё же, если бы кто-то подошёл и спросил её: «Как звали козу Эсмеральды?», она бы сразу же дала правильный ответ.

В шестнадцать лет Ольга уехала в Санкт-Петербург, где вскоре нашла благородное общество. Она посещала клубы и салоны, завела знакомства с художниками, музыкантами, поэтами и режиссёрами, однако никто не спрашивал её о козе Эсмеральды. Все интересовались Сахалином, спрашивали, в самом ли деле там круглый год так холодно и темно, что люди впадают в зимнюю спячку, подобно медведям, и поэтому каждые три часа их будят специальными сиренами, действительно ли медведей, которые проснулись слишком рано, называют шатунами, а ругаясь, люди говорят: «Шатун тебя задери», и неужели при хорошей видимости можно углядеть вдали берег Японии.

Несколько лет спустя Ольга со своим другом решила покинуть Россию и переехать в Германию. На эту страну она возлагала особые надежды. По её соображению, Германия должна быть родиной европейской культуры, страной, населённой поэтами, мыслителями и теми, кто изящные искусства ценят превыше всего. Каждый гражданин здесь знает Шиллера и Гёте наизусть, перед сном читает фон Клейста, а в выходные и праздники с балкона декламирует Брехта. Примерно так Ольга представляла себе Германию. Перед тем, как отправиться в путь, она подробно занималась немецкой литературой, историей и музыкой — она ведь не хотела ударить лицом в грязь. Брехт ей показался очень поверхностным, Ницше она охарактеризовала как «философа для подростков», а Томас Манн в ней просто вызывал зевоту. Недаром Пастернак сказал о нём, что там, где иной пишет одно слово из десяти, Манн пишет все десять, а потом их ещё и разжёвывает. Однако Ольга хотела быть готовой к немецкому культурному обществу. Она проглотила все оперы

deutschen Sagen gelesen und alle Götter des germanischen Himmels studiert, für alle Fälle. In diesem germanischen Himmel jagten gefallene Krieger fette Wildschweine durch die Wolken, abends versammelten sie sich in der Kneipe und bekamen vom Gottvater Odin persönlich ihre Getränke und Heldenplätze zugewiesen. Wer sich schlecht benahm, wurde von den Walküren, den weiblichen Türsteherinnen dieser göttlichen Schänke, vom Himmel verbannt. Olga fühlte sich auf den deutschen Himmel und die Erde gut vorbereitet. In jeder Kneipe konnte einer zu ihr kommen und fragen „Wie hießen die Raben von Odin?“, sie wusste sofort Bescheid.

In Deutschland konnten die Eltern von Sachalin nicht mehr helfen, man musste selbst für den eigenen Unterhalt sorgen. Olga arbeitete zuerst bei einer türkischen Gebäudereinigung, später in einem italienischen Restaurant, dann in einem russischen Import-Export-Geschäft und schließlich in einer Disko.

Es dauerte eine Weile, bis sie die richtigen Kulturmenschen fand, Dichter und Denker. Sie interessierten sich weder für die Raben von Odin noch für Thomas Mann. Stattdessen fragte sie Olga über Sachalin aus. Sie zeigte, wie groß die Preiselbeeren und Blaubeeren auf Sachalin werden, nämlich so groß wie Hühnereier, sie erzählte, dass sie als Kind eine Eule namens Natalia als Haustier hatte und dass auf dem japanischem Friedhof von Sachalin keine Kreuze, sondern weiße Stöcke stehen, auf denen japanische Schriftzeichen von längst Verstorbenen zu sehen sind.

Die Hoffnung stirbt zuletzt. Irgendwo auf der Welt muss doch diese belesene Gesellschaft leben, die mich Wichtiges fragt, vielleicht in Übersee? dachte Olga, sie bereitete sich gründlich auf ihre erste Reise nach Amerika vor. Als Kind las sie mit großer Freude amerikanische Autoren, die ins Russische übersetzt worden waren: John Updike, Kurt Vonnegut und die Trilogie der Begierde von Theodore Dreiser: den Finanzier, den Titan, den Stoiker. Vor allem aber hatten es ihr amerikanische Bücher angetan, in denen irgendwelche kleinen und großen Fische die Menschen in den Wahnsinn und den Tod trieben, den kleinen Suizidfisch von Salinger, den hinterhältigen Beutefisch von Hemingway und den vom Teufel besessenen Wal von Melville. Viele Amerikaner, die Olga kennenlernte, erwiesen sich als begeisterte Angler, es interessierte sie

Вагнера, прочитала все немецкие саги и изучила всех богов немецкого пантеона — на всякий случай. Как выяснилось, на немецких небесах павшие воины охотились в тучах на жирных кабанов, а по вечерам собирались в трактире, где лично от бога О́дина получали питьё и места за столом. А тех, кто себя плохо вёл, вышибалы-валькирии прогоняли с небес. Ольга чувствовала себя хорошо подготовленной к немецкому небу и немецкой земле. В любой пивной кто угодно мог к ней подойти и спросить: «Как звали воронов Одина?», и Ольга была готова без запинки дать правильный ответ.

В Германии сахалинские родители больше ничем не могли помочь, нужно было самостоятельно зарабатывать на жизнь. Поначалу Ольга работала в турецкой фирме по уборке помещений, далее в итальянском ресторане, потом в русской конторе, занимавшейся куплей-продажей, и, наконец, в клубе.

Отнюдь не сразу ей удалось найти людей, связанных с культурой — поэтов и мыслителей. Но они не интересовались ни во́ронами Одина, ни Томасом Манном. Вместо этого они расспрашивали Ольгу о Сахалине. Она показывала, какими огромными бывают на острове черника и брусника — а именно, как куриные яйца. Она рассказывала, что в детстве у неё дома жила сова по имени Наталья, и что на сахалинских кладбищах ставят не кресты, а белые столбики, на которых видны японские иероглифы.

Надежда умирает последней. «Где-то же должно существовать это интеллектуальное сообщество, которое будет меня расспрашивать о важных вещах. Может, оно находится за океаном?» — думала Ольга, готовясь к первому путешествию в Америку. В детстве она с большой отрадой читала американских писателей, которых переводили на русский — Джона Апдайка, Курта Воннегута, «Трилогию желания» Теодора Драйзера («Финансист», «Титан», «Стоик»). Однако в первую очередь она влюбилась в американские книги, в которых малые и большие рыбы склоняли людей к безумию и смерти — суицидальная рыбка у Сэлинджера, коварная рыба у Хемингуэя, одержимый дьяволом кит-убийца у Мелвилла. Многие американцы, с которыми познакомилась Ольга, оказались страстными рыбаками. В

vor allem zu wissen, ob es stimme, dass man auf Sachalin, um einen Fisch zu fangen, ein metertiefes Loch in Eis bohren müsse, sie wollte wissen, wie breit das Loch sein sollte, welche Köder die Sachaliner Fische bevorzugen und wie man sie richtig präpariert.

Später war ich mit Olga zusammen in Japan, in Singapur und in Mexiko-City... Überall auf der Welt klärte meine Frau Menschen über die Insel Sachalin auf, über die dortigen Bären und Beeren, über die Fische und Fischer. Doch irgendwo in der hinteren Ecke ihres Unterbewusstseins wartet noch das kleine Mädchen von der Insel auf die vornehme Gesellschaft, die alles gelesen hat und das Mädchen auf den Prüfstand laden will, für diesen Fall hütet das Mädchen und pflegt in seinem Kopf den ganzen Zoo der Weltliteratur: die Ziege von Esmeralda, die Raben von Odin, Salingers Bananafisch und den großen Moby Dick. Die Eule Natalia käme dann zum Dessert.

первую очередь их интересовало, правда ли, что на Сахалине, чтобы поймать рыбу, нужно во льду пробурить лунку метровой глубины. Они хотели знать, какой ширины оказывается такая лунка, какую приманку лучше использовать и как её лучше готовить.

Позднее мы с Ольгой вместе побывали в Японии, Сингапуре, Мексике... И везде моя жена рассказывала людям об острове Сахалине, о тамошних ягодах и медведях, о рыбах и рыбаках. Но всё же где-то в глубине подсознания маленькая сахалинская девочка по-прежнему ждёт благородного общества, где все всё читали и хотят её проэкзаменовать. На этот случай она хранит в голове весь зоопарк мировой литературы: козу Эсмеральды, воронов Одина, рыбку-бананку Сэлинджера и огромного Моби Дика. И уже потом, на десерт, можно будет рассказать и о сове Наталье.

*Перевод: Григорий Аросев*

Александр Снегирёв

# Две тысячи двадцать второй

*Рассказ*

— Мы будем сражаться до конца. Я знал ребят, сработавших в Мюнхене. В Коране написано, в две тысячи двадцать втором году мы победим.

Потрёпанные куклы с облупленными фарфоровыми щёчками, старомодные люстры с рогами, свёрнутыми набок, униформа солдат и офицеров некогда враждующих армий, монеты различных государств и достоинств в прозрачных кармашках, виниловые пластинки (точно такими же в детстве я бросался во дворе, когда на помойку вынесли целую коробку), чашечки и блюдца, украшенные упитанными крестьянками и амурами, чей игривый настрой не смутил даже двадцатый век. Мы остановились у прилавка с металлом.

Одна к одной разложены натёртые до блеска латунные дверные ручки, сверкающие цифры только и ждут, когда их купят и приладят к дому, чтобы они могли обозначать его номер. Затейливые бронзовые накладки на комоды, завитушки от зеркал. В отдельных ящиках навалены горы ржавых ключей, гвоздей, дверных табличек с именами, оконных ручек и прочей скобяной мелочи. Добро это явно не один год пролежало в земле. Копают неподалёку, потрошат целые курганы свезённого после бомбёжек хлама. Рядом с Берлином такого много, есть что предложить туристам и завсегдатаям местных блошиных рынков, в том числе и моего любимого, на Арконаплац.

Мы трогаем тусклое литьё и ржавую штамповку. Семьдесят пять лет назад освободительный огонь начисто вылизал город, только металл сохранился. И фарфор. Да и тот припёкся, розовые тела амуров здесь и там покрывают оспины несмываемых крупиц. Ржавчина под пальцами кажется налипшим прахом, вместо окислов мерещатся кровавые подтёки.

Симпатичный старик-торговец улыбается отвисшей нижней губой. Напоминает продавца фруктов на русском юге. Густые усы, баклажанистый носяра, кепка-аэродром. Вытирает руки газетой:

— Каждый месяц я отсылаю немного денег ХАМАСу. И все наши так. Нас не победить.

Видимо, старик — палестинец. Окажись он здесь на восемь-девять десятков лет раньше, не потребовалось бы отстёгивать проценты за транзакции — вкладывался бы на месте, заслужил бы значок «Почётный донор Рейха», или «Почётный меценат», или что-нибудь в этом роде. Выбираем два изъеденных временем крюка, вкрутим их в столбы крыльца у себя под Москвой, подвесим горшки с цветами. Мы любим всё старинное, с родословной, нуждаемся в прошлом и неспроста — в наших краях тоже всё выгорело.

— Почему бы просто не покончить со всем этим? — спрашиваю я у старика.

— Запомните, две тысячи двадцать второй год, — улыбается старик. Своей отвисшей губой он напоминает карикатурного сиониста, раввина и всех тех, кого он сам так люто ненавидит, на войну с кем жертвует.

Мы забираем свёрток, идём прочь от старика, торгующего осколками старого мира и планирующего на заработанное взорвать мир новый. «Мы будем сражаться до конца», — доносится до нас, старик заговорил со следующими покупателями.

Татьяна Дагович

# Les droits de l'homme — права человека

*Рассказ*

Стою среди них и поглядываю на других. Довольно много инвалидов, задумаешься — от рождения или несчастные случаи в течение жизни? И — в первом или во втором случае больше причин быть здесь? В то же время все обеспечены колясками, протезами. Само собой разумеется — иначе как бы им добраться до Страсбурга? И визами обеспечены, думаю, глядя на демонстрантов явно не европейского вида. Замечаю группку леваков и, с другой стороны, похоже, каких-то правых. Однако бóльшая часть собравшихся — обычные люди вроде меня. Не знаю — привычка у них ходить на демонстрации или на самом деле не решаемые иначе проблемы. Впрочем, у кого нет нерешаемых проблем? Хотя, что касается меня, мне просто недалеко ехать, пятьдесят километров и незаметная немецко-французская граница, а так как я, как выражаются сегодня, «сингл» (да, одиночная песня) — времени у меня предостаточно.

Гляжу вверх и вижу: собираются живописные фиолетовые тучи, клубятся над нами. Будет ливень. Чего и следовало ожидать. С зонтами будет неудобно, конечно. И транспаранты промокнут — особенно у тех, кто непредусмотрительно принёс бумажные. Я — без транспаранта. Это не первая демонстрация для меня: я так считаю, почему бы не подышать свежим воздухом, защищая при этом права униженных и оскорблённых, тем более, если вести себя прилично, здесь это дело безопасное, резиновые пули, автозаки, слезоточивый газ — из другой оперы, тут вам не Гонконг. Но я никогда не участвую слишком активно, гневные транспаранты и пламенные речи — это не моё. Похожу немного с другими, прислушаюсь к ораторам и к собственной удовлетворённой совести и возвращаюсь домой.

Собрались перед зданием Европейского суда по правам человека — ЕСПЧ, если коротко. Перегородили дорогу. Смотрю на дом по ту сторону дороги — и на нас смотрят из окна. Как на идиотов. Мы мешаем. Не понимают, что мы тут и за их права стоим. Перевожу взгляд на аиста, приземляющегося в парке за дорогой — их там разводят (соблюдая все птичьи права), и понимаю, насколько втайне не люблю демонстрации — вот бы пойти в парк, бродить по дорожкам, вокруг озера, а когда польёт дождь — бродить под дождём. На демонстрациях мне всегда очень скучно. Чувство сопричастности не охватывает меня, я стою, чтобы стоять, иду, чтобы идти — для цифры в новостях. И даже обидно, что у меня, кроме обычной работы и недорогой старой машины, имеются эти дурацкие убеждения, не позволяющие «прогулять» соотносящиеся с ними мероприятия.

Я уже почти решаюсь сделать вид, что мне надо в туалет, и ускользнуть в парк, но почему-то ясно представляю себе больного аиста, который стоит с растопыренными потрёпанными крыльями посреди дорожки, под дождём, и не может ни уйти, ни улететь, стоит и смотрит, что с ним сделают или что произойдёт, и лучшее, что могут сделать добрейшие работники — это усыпить его поскорее, а он будет из последних сил сопротивляться, когда его попробуют взять в руки. Так ясно представляю, что практически вижу и ничего не могу поделать с уверенностью, что он будет там, и боюсь его увидеть. Естественно, не ухожу никуда.

Из фиолетовых туч летят тяжёлые, но пока редкие капли. Одна падает мне на стекло очков, и в правом глазу стеклянное здание ЕСПЧ, построенное над водой, плывёт по этой воде, уплывает вдаль. Снимаю, чтобы протереть стёкла, и плывёт всё. Из-за ветра и близкой болтовни я почти не слышу выступающих, доносятся только обрывки: «...тысячелетия популизма и пустых обещаний...» — «Царствие небесное? Где? Минимальные гарантии на земле...» Зато чётко слышу, о чём шепчутся поблизости (французский и немецкий шёпот, оба языка мне понятны — вот что значит жить недалеко от границы): «Хотя бы мою тёщу взять — в чём она виновата? Доктор экономических наук, всю жизнь работала, преподавала, а сейчас писается и не узнаёт жену... свою

дочку, то есть. Вот скажите, мы давно смирились с тем, что жизнь конечна и коротка, но неужели, хотя бы если человек всю жизнь занимался самосовершенствованием, неужели старость не может быть временем совершенства, мы ведь не требуем бессмертия — почему нам не дано перед уходом спокойно насладиться достигнутым и уйти достойно, к чему эта деградация, боль, это унижение?» — «Да, я так это себе представляю: никакого старения — хватит уже делать вид, будто это для нас не проблема. Ни морщин, ни маразма: человек развивается и расцветает год за годом, и потом — пусть, совершенным цветком пусть взлетает в небо — когда придёт срок». — «А не обидно будет — цветком-то?» — «Уж не хуже...» — «Старики, вы говорите. А дети? Я два года волонтёром в детскую онкологию ходила. А потом перестала — ну вот не выдержала, и всё. Как два года из жизни вычеркнули. За что это им, нам? Говоришь потом: „Он сейчас в раю“, — но нужна какая-то современная концепция рая, соответствующая актуальному уровню науки и человеческого общества. То, что на небе ничего нет, мы уже знаем». — «Какой рай, не говорите, что вы верите в эти сказки. Мол, после смерти вам всё компенсируют, и надбавку к зарплате дадут, а пока — терпите. Правильно говорит — тысячелетия популизма». — «Да, на самом деле, давайте послушаем!» — «Что там говорят?»

Дождь усиливается, и я думаю, открыть зонт или нет. Мне холодно, куртка на плечах промокла, но, с другой стороны, в толпе с зонтом неудобно, если мы все откроем зонты, нам придётся расступиться, или начнём колоть друг друга спицами. Думаю: как типично для жизни. Вижу несколько раскрытых тёмных зонтов, но большинство предпочитает мокнуть. Опять вспоминаю Гонконг — как там с зонтиками[1] управлялись? Шёпот возобновляется.

«И это ещё здесь, в Европе — на нашем «острове блаженных», а в других странах...» — «Крепости блаженных!» — с сарказмом вмешивается молодой счастливый голос, намекая на трудности проникновения в Евросоюз для жителей бедных

[1] Так называемая «Революция зонтиков» (2014–2015) в Гонконге — протесты против избирательной реформы, во время которых демонстранты использовали зонтики как защиту от слезоточивого газа (прим. автора).

стран. Но голос постарше, очевидно, не поддерживающий политику открытых границ для беженцев со всего мира, на провокацию не ведётся, а продолжает: «А что в других местах? Это же кошмар. Мы должны требовать жизни достойной того, чтобы жить. Для всех. Везде. Ведь я не говорю о счастье — но минимума, какого-то минимума для человека. Тогда, кстати, никому никуда бежать не придётся».

Мне становится холодно, и я думаю, что нужно было сделать транспарант против холода. Зачем чувство холода? Для нашего выживания — да ведь нас и так слишком много на земле, о чём нам никогда не преминут напомнить сверху.

«Минимум» — это слово слышится отовсюду. Минимальных гарантий. Минимальной продолжительности жизни для всех. «Пусть это будет немного, совсем немного — говорит женщина со здоровым лицом и больными глазами, — пусть это будет... пятьдесят лет — мне пятьдесят четыре, но пусть это будет гарантированный минимум для всех! Чтобы никто, на самом деле никто раньше...»

Я иду вместе со всеми. Куда — сначала не понимаю, потому что дождь, ветер, чужие пальто, голоса. Но как раз голоса доносят до меня, и я с ними соглашаюсь: какой смысл стоять перед этим стеклянным зданием, где в кабинетах такие же люди, как мы, только более обеспеченные? С любым из них завтра может приключиться инсульт. Мы можем вытребовать у них какие-то послабления, которые потом обернутся против нас же. Свободы, которыми вместо нас воспользуются террористы. Нет, мы идём туда, куда имеет смысл идти с нашими лозунгами, туда, где имеет смысл говорить о правах человека и надеяться быть услышанными — мы идём к Страсбургскому собору.

«Разверзлись хляби небесные», — слышится слева. «Их разверзли!» — поправляет самоуверенный мужчина в шляпе. Хорошо ему — шляпа защищает от дождя. «Это небесный аналог водомётов. Демонстрации не любят, ни тут, — он указывает пальцем на удаляющееся здание ЕСПЧ, — ни там!» — переводит палец на небо. «Сравнил дождик с водомётом — сразу видно, что под водомётом ты не был», — бурчат так, чтобы самоуверенный не слышал, но слышали другие. «Однако мы должны донести

наши проблемы, мы просто не видим другого способа! Просто предел уже настал... Должен быть какой-то предел... какая-то минимальная справедливость. Нужно донести, что мы так не можем больше». — «А раньше будто лучше было?» — «Раньше лучше не было, было хуже, но раньше люди... у людей была вера и люди не понимали про права. Они боялись, они в лучшем случае молили, но не требовали соблюдения своих прав...» — «Иов не знал о правах человека». — «Вера и сейчас есть — у тех, кто невозможное считает возможным, и думает, что наверху нестыковки как-то поправят». — «Но если вы не верите — почему вы здесь?» — «Про войны пишут — будто мы сами виноваты. А кто виноват? Я, что ли, виновата? Я политикой никогда не интересовалась, сидела дома, если телевизор включала, то только для сериала. Я, что ли, это всё затевала?» Смешливо: «Может, стоило интересоваться?» — «Да, это моя первая демонстрация. Но, вот увидите, не последняя. Я потрачу всю жизнь, но я добьюсь справедливости. Какого-то минимума справедливости». Дальше справа: «Да, я понимаю, что люди имеют разный доступ к образованию, и мы сами в этом виноваты. А с другой стороны — кто мы? Мы можем это изменить? Или нас такими создали, что такой жизнь вышла? Но если один рождается с *IQ* пятьдесят, а другой — сто пятьдесят? Причём здесь образование?» «*IQ*! А если без почки родится?» — «А когда бояться наконец нечего и всё необходимое есть — наступает депрессия! Неизбежно!»

Так и бредём — медленно, потому что в толпе особо не разгонишься. Мне уже и не холодно — мы греем друг друга близостью и сладким возмущением. Как ни странно, дождь играет нам на руку: на площади перед собором нет туристов, и мы спокойно размещаемся — теперь даже просторнее и можно раскрыть зонт, но теперь мне не хочется — когда одежда промокла насквозь, какой смысл. Думаю: был согласован с властями переход к собору или это спонтанная акция? Полицейские выглядят умиротворёнными.

Конечно, не обходится без пары старух, которые пытаются нам объяснить, что нужно жизнь принимать со смирением, быть терпеливыми и ждать вознаграждения после, а также, что мы грешники, но по-настоящему фанатична только одна,

остальные, похоже, втайне надеются, что мы выторгуем для них хотя бы (минимальное) послабление их немощей и болезней или не очень мучительную смерть. Только эта фанатичная причитает: «Он за вас на кресте мучился, а вы!..»

Активнее оказывается старик в плаще, он вклинивается в толпу и отчаянно кричит в лица: «Что за цирк устроили? К кому вы обращаетесь, к кому? Нет там никого! Нет, и никогда не было! А вы! Вы берёте наши левые идеи, и... и прямо в опиум для народа! Нет, не было и не будет там никого!» Однако не уходит — видимо, и он на что-то рассчитывает. Священнослужители показываются, но выглядят подготовленными к нашему появлению: ни позитивной, ни негативной реакции. Они рады, что мы обращаемся не к ним, а через их головы — им надоело веками придумывать решения нерешаемых задач и тыкать нам в глаза свободой воли, будто этот парализованный, которого везут впереди, свободной волей выбрал своё состояние. Надо будет в вечерних новостях посмотреть, как выскажется папа римский.

Смотрю на транспаранты — на некоторых течёт краска, другие держатся. «Не более двух серьёзных несчастий на одну жизнь!» — «Знамения перед природными катастрофами — не позже, чем за три дня». — «Моральный закон обязателен для всех (всех — подчёркнуто) разумных существ. Иммануил Кант». Сомневаюсь, что у Канта встречались такие короткие предложения. «Желание нормальной жизни — не грех, а базовое право любого человека!» — «Мы требуем установить минимальную продолжительность жизни и минимальное количество радости на жизнь!» И довольно странное: «Человеку — человечность. Пусть мы будем человечны по отношению друг к другу!»

Ловлю себя на том, что смотрю на всё немного со стороны или даже свысока — будто я здесь за других, а не за себя стою (как на демонстрации курдов, например). К обделённым жизнью я себя не причисляю. Как и к чересчур счастливым, правда. Личная жизнь у меня к сорока так и не сложилась. Но меня всё устраивает, так что транспаранты типа «Не разрушать любовь смертью» с символическими Ромео и Джульеттой или «Близкого человека — каждому!» с обнимающей рукой кажутся мне дурным вкусом и преувеличением. Откуда-то из-за спины

слышу: «И эпилепсия, и СПИД — почти смешно. А потом эти долги. Ну неужели нельзя ограничиться чем-то одним! Почему одновременно на одного человека — а пишут, не более двух. А два — разве это не слишком?» — «Так оно обычно и бывает — одно тянет за собой другое. Это и есть базовая несправедливость, с которой мы боремся».

Странный собор в Страсбурге. Как и в Париже или Кёльне, предполагались, похоже, две симметричные башни, но здесь башня лишь одна — не посередине, а слева, справа же вместо башни только короткий выступ, словно культя — то ли не достроили, то ли когда-то обрушилась. При этом красиво, разумеется: все эти каменные цветы, снежинки и прочие финтифлюшки, и никто не говорит вслух об очевидном несовершенстве. Впереди, на подиуме перед порталом собора, выступает знаменитый писатель — не могу вспомнить имени. Изображает Сартра, нашёл себе аудиторию и рад. Слов не слышу. Зато, точно так же, как представлялся мне больной аист, сейчас перед моими глазами просторный кабинет в стеклянном здании ЕСПЧ, от которого мы ушли. И кто-то в этом кабинете — в белой рубашке, с галстуком, в костюме — как положено в таких местах. Ходит от стены к окну, от окна к стене, высчитывает, как поступить, чтобы удовлетворить требования разных слоёв населения, гендеров и религий, разных народов, разных стран, параллельных миров, несовместимых интересов и истин. И как успокоить тех, кто толпится перед зданием (хотя сейчас там никого не осталось). Как накормить волков, оставив целыми овец, вечный вопрос, вечный вопрос. Подозревает, что не соответствует должности — лучше бы стал кассиром в супермаркете. Снимает галстук. Это проклятое абсолютное одиночество. Никто не хочет брать на себя ответственность, будто никто не работает кроме него в этом здании. Будто больше никого нет во всей вселенной.

Дело к вечеру. Я начинаю проталкиваться к краю площади. Объясняю, что мне ещё долго ехать, из Франции в Германию, и мне понимающе кивают, будто это далеко — на самом деле все замёрзли, всем хочется по домам, все, кроме самых яростных, уверены в безуспешности нашего предприятия, но

стесняются вот так просто уйти, будто испугались дождя. Хотя на самом деле испугались. А я хочу домой, хочу под тёплый душ, хочу горячего имбирного чаю с мёдом. Даже представлять этот чай — терпкий вкус, пар, поднимающийся над чашкой — приятно.

Дождь слабеет. Я уже почти выхожу с площади в переулок, надеясь не слишком долго искать бесплатную стоянку, на которой припаркована моя машина, когда часть неба очищается. Как раз та, где клонится к западу солнце. Бледная, едва заметная радуга высвечивается в небе. Завтра наверняка будет хорошая погода. А ещё говорят, нет смысла защищать свои права на демонстрациях!

Андрей Дитцель

## Летнее расписание на юг

1.
Купив стаканчик семечек, постой, смешайся с озабоченной толпой,
как будто той же крови, той же расы. (Табак и солод, сдоба и анис.)
До электрички — вечность. Потопчись, поплёвывая у билетной кассы.
Шумят цыгане, сразу за углом (вокзал и мост, на горке новый дом)
скупают золото, торгуют травкой. Здесь совпадают повод и предлог.
Мой город, перекрёсток всех дорог, по-прежнему туга твоя удавка.

2.
Куда-то ехать... Сколько ни крути, а железнодорожные пути,
как и Господни, неисповедимы. Ещё живут в бараках старики,
и, говорят, на самом дне реки об эту пору прячутся налимы.
Коротким летом ярче и сочней всё то, что тянет соки из корней,
и гибнет всё, что потеряло корни. Найди в вагоне место у окна,
смотри, как на перроне у бревна гоняет пыль задумавшийся дворник.

3.
Окраина. Индустриальный лес стал реже, кое-где совсем исчез.
Кусты и травы празднуют победу. Люд православный сонно пьёт кефир,
грустит, что не работает сортир. Сосед приглядывает за соседом.
...Из музыкалки сделали приход. Пристроили шатёр с крестом — и вот
теперь мы все немного христиане (и милостыню щедрую творим.)
Мальчишки жгут покрышки. Едкий дым. Вкус родины, сухой комок в
гортани.

## Сердце

Бабушка в моём детстве не раз учила —
сердце у человека должно быть слабым.
— Вот и опять закололо, скоро в могилу, —
говорит баба Маша, ещё не старая баба.
— Пусть поработает, но недолго, немножко,
пока не ослабла память, носят суставы.

Тащим на электричку в город картошку.
Дачное общество — поле, забор, канавы.
Брал под язык валидол — может быть, вкусный?
Ставила в угол. Верней, запирала в кладовке.
В старых хрущёвках были такие, с капустой,
банки на самодельных полках, мясорубки, шинковки...
— Внуки, — кричит невестке, — пьют мои соки!
Сходишь за хлебом, и не забудь про аптеку.
Ишь, нарожали себе... А старым морока.
По телевизору похороны генсека.
Деда помню, но мало. Было до школы.
Рухнул на огороде, врачи не успели.
Вот у кого было слабым... Ну да, алкоголик.
Добрый зато. Повесил на даче качели.
Бабушка снова вышла замуж. Удачно —
за одного из соседей, со старой «Волгой».
Правда, ругалась: — Я на него батрачу...
Но ничего, осталось уже недолго.
Пережила и его. Президентом стал Ельцин.
Думали, и сама безнадёжна, по сути —
как ещё держится в этом сморщенном теле?
Охает, стонет. Глядь, президентом стал Путин.
Стала сбиваться, путать, по-стариковски
пачкать бельё. На уборку и стирку нет силы.
Помнится, за решётку попал Ходорковский.
Умирать совсем расхотела. Воцерковилась.
Единороссы рукоплещут на съездах,
бойко клеймят хомячков, агентов, шакалов.
Часто сидела на лавочке перед подъездом.
Там и скрутило однажды. Парализовало.
Мази от пролежней. Пластиковая иконка.
Старый ковер, фотографии, стенка с сервизом.
Бабушке третий год меняют пелёнки.
Только мычит. Да пялится в телевизор.
А в телевизоре те же самые лица,
те же самые флаги, песни и пустословье.
Сердце, похоже, не думает остановиться.
Сердцу, похоже, не занимать здоровья.

* * *

Ребёнок дверью жмёт орех заморский, грецкий.
Матиас Руст сажает борт на Москворецкий.
И в продовольственном ждут с банками сметану,
и Летов молодой и всё идёт по плану.

Хоть «всесоюзной имени...», хоть символ веры.
«Вот этот децел принимал нас в пионеры».
Хоть партия и труд, хоть Иегова-Яхве
и патриарх в трусах на черноморской яхте.

Когда тебя, когда меня не станет часом
и родина опять нажрётся тёплым мясом,
а требуху и кости сбережёт на борщик.
(Шесть в спину, ледяная рябь, снегоуборщик.)

Когда тебя, когда как барскую скотину
на высочайшие прирежут именины —
чтоб не печатались своим гражданским шрифтом.
(Контрольный в голову, глушитель, перед лифтом.)

Когда не станет нас на русском да раздолье,
кто будет солодом земли, кто будет солью.
Стоит на глиняных, стозевна и двуглава,
и упивается собой орда, держава.

* * *

Это птицы над нами застыли в стекле,
очутились в прозрачной и вязкой смоле.
Взмахи крыльев — как будто замедленны, сонны,
и доносятся сверху то вздохи, то стоны.
Это холм и долина с ленивой рекой,
до которой отсюда тянуться рукой,
повторяя ладонью изгиб её русла —
и река отзовётся старинно, как гусли.

Это дом с острой крышей и сад у холма
(припорошена чуть горизонта кайма)
и молчание над обитаемым миром
в стылом воздухе, между землёй и эфиром.
Это музыка, или туман, или снег
оседает на наш заплутавший ковчег.
Это крутится медленно та же пластинка.
(Где-то прыгает кошка и ловит снежинку.)
Это мальчик и мама гуляют в саду
и вздыхает бычок: «Я сейчас упаду».
Покачнулся, но топает дальше дорогой
по доске, неокрашенной и неширокой.

* * *

По реке проплывают баржи. Я становлюсь всё старше.
Над рекой пролетают птицы. У меня седеют ресницы.
Я стою на земле, на пятках, жую всухомятку.
И проглатываю кусочек, если встаю на носочек.
Крошки с размахом бросаю рыбам и птахам.
Вдоль реки проходит аллея. Я становлюсь рыхлее.
Голоса и дым за оврагом. Скоро я стану прахом.
Губы и место срамное смешаются с перегноем.
Но душе бессловесной не будет так тесно.
Может, она станет чайкой, странницей, попрошайкой.
Или дворовой вороной, шельмой и блядью прожжённой.
Не останется без приюта, ни на минуту.
Говорят, у господа бога в доме обителей много,
всяк получит постель из пуха, кто рождён от воды и духа.
На земле или в стратосфере всяк получит себе по вере.

Анжелина Полонская

## Чернее белого

Неужели всё это зря,
и траур снега встречает тебя снова и снова —
нет цвета чернее белого.
Ты ставишь свои чемоданы,
ты видишь в крови собаку
и думаешь «я дома».
Только мама стоит в дверях и целует
в волосы, в тонкую кромку лба,
промахиваясь и скользя, —
маленькая, словно девочка.
А снег всё сыплет, будто не замечая вас,
но кто-то смотрит в оконные щели,
кто-то смотрит в оконные щели,
пристально и безмолвно.
И с каждым таким возвращением
«неужели всё было напрасно», —
уже не горит — еле теплится.
Траур свежего снега.
Как он к лицу стране,
в которую ты сошла по трапу.

## Фотоальбомы

Бесспорно, первое, что следует предать анафеме —
фотоальбомы: и девочку с мячом, и маму.
Скамейку, куст сирень сложить в костёр у дома.
И объявить, что солнце вне закона.
Позвать воров — пусть вынесут железные кровати,
где спали мы так долго и так прямо.
Затем срубить рябину у забора,
чтобы под ней не закопать собаку.

О пустоте нет повода заплакать.
И не имея прошлого в карманах,
жить, как трава, не спрашивая: кто ты.
Течь, как вода, не искушая память.

## Времена года

Иногда мне кажется, что сливы в цвету.
Иногда — что зло непобедимо.
Что тень собаки лежит на снегу.
Я знаю, как все тополя одинаково женского рода,
когда их на спины кладут.
Что голос (за мной повторяй) единственный
невыносимее хора любого.
— Невыносимее хора.
Я помню, что в сад мне глядеться нельзя.
Что мы попрощаемся рано (молчи) или поздно.
Что тот и несчастней, кто не отпустил от себя.

## Яблоки

Серые ветви, удары глухие.
Это яблоки падают в конце ноября, и мы
подбираем их замороженными руками.
Мне показалось?
Или же ты, не отрывая глаз от земли,
что-то сказала?
Вроде бы так: «зло побеждает».
Тихо сказала.
Будто за нами тайга. Будто мы камни в подол собираем.

## Звезда

Стихи не помогли.
Звезду на китобойном судне вспороли рыбаки.
И я стою как мальчик за оградой,
как выглядит любовь, чем пахнет,
я на неё смотрю.

Так чем же пахнет стыд и ересь эта?
Его (мои) глаза от ужаса слезятся.
Столь много видели они.
Дождь молод и ему не страшно падать,
с немецкой речью он навеки связан,
не знаю как, не знаю почему.
Моя звезда,
ты истекаешь светом в пол дощатый,
и судорожно дёргаешь лучи.

## Поезд на Альпы

Усталость. Поезд на Альпы.
Немецкая речь.
Где мы? Что делаем здесь?
Впервые мой поезд без места.
Подняв воротник у пальто,
в неведомой дрёме
роняя висок,
я плоть протыкаю.
За что? За какие идеи?
И кто мне оружие подбросил?
Как пишется «не»,
отдельно ли слитно с глаголом?
Мой синтаксис рвётся.
Кондуктор штампует билет
и шепчет
*Der Krieg*. Вы вечно, славяне,
артикль неверный берёте.
Я вижу закат —
предел равнодушья.
Столбы и столбы верстовые.
И я успеваю подумать,
как просто
уметь убивать.

Максим Цхай

# Рассказы об отце

Что-то же осталось в этом вечно раздражённом, постоянно бурчащем человеке, от моего лёгкого, юморного, всегда такого беспечного папы, выражение лица которого всегда было таким, словно он когда-то увидел что-то прекрасное и не может об этом забыть.

Того, который рассказывал мне на ночь сказки, выдумываемые тут же, на ходу. Игравшего со мной в солдатики и в «разведчика». Баловавшего меня всегда, когда мамы не было дома. Смиренно терпевшего меня, подростка, которого можно было отнести даже не к «трудным», а к «ёпа-мать, это вообще что такое».

Конечно, отец остался прежним. Только теперь его нужно искать, находить и извлекать, как семечко из скорлупы возраста.

Когда папа улыбнётся, своей прежней, тихой, чуть растерянной улыбкой, у меня в душе всё сразу успокаивается.

Я будто говорю: «Здравствуй, наконец-то это ты».

Улыбка прячется почти сразу, за мрачной, раздражённой маской старости. Но я знаю, она жива и есть.

А ещё, конечно, его любовь ко мне. Она осталась прежней. У меня нет ни малейшего сомнения, что, если перед отцом поставить выбор, кому шагнуть в огонь, ему или мне, он молча и сразу сделает шаг.

Ну, может быть, только чуть растерянно улыбнётся сперва.

Когда папа на меня кричит, сквозь шляпу и очки, он похож на итальянского мафиозо на пенсии, у которого сын наркоман и педик.

— Папа, не кричи на меня, я не такой, чтоб на меня так кричать.

— Я тебе говорил, что собака свинину не ест? Говорил?

— Ну я перепутал, господи, речь о тридцати пяти рублях...

— Вот! Доверил ему хозяйство! Я знал, что этим кончится.

Папа надевает пальто и ботинки и собирается в мясной отдел. Возвращать кости с кожей. Собака Белка питается супом из субпродуктов, только я замечтался о птичках и купил пару кило не говяжьих костей, а свиных...

— Куда ты собрался?

— Пойду поменяю.

— Папа, не позорься.

— Ай, замолчи. Молчи лучше!

Ушёл.

Сижу, варю картошку с лавровым листом, и мне кажется, если папе сейчас свиной пакетик кишок на говяжий не поменяют, он вернётся и меня им по голове откуячит...

Папа жуткий эконом. Правда, надо отдать должное, экономит он прежде всего на себе. Как я приехал, старается не есть мяса.

Я уж и так, и этак — ни в какую, но я его обхитрил.

Беру уверенной рукой самый лакомый кусочек и, слегка обгрызая, кидаю обратно в чашку. И в холодильник. Когда папа садится обедать, говорю: «Слушай, там я кости оставил какие-то, не знаю, выбросить, нет...»

Папа, конечно, выпучив глаза, кричит: «Какое выбросить, с ума сошёл! Дай немедленно, я доем, ничего... Ха, тут мяса ещё с килограмм! Вот вы там, в Германии, зажирели...» Или говорю: «Слушай, этот кусок уже третий день лежит, вон, подванивает уже...» и делаю шаг к мусорному ведру.

Папа, как Котася на мышь, кидается на чашку в моей руке.

«Ничего! Ерунда! Оно даже полезно немного, если мясо подпорчено!»

Если упасть на диван без сил и обвинить в этом авитаминоз, он сперва в панике замечется по дому и, найдя таким образом шляпу, сумку, деньги и ключи, умчится на рынок и принесёт полные сумки переморожeнных фруктов, которые на радостях напихают ему не очень порядочные торговки.

Сам он их есть не будет: «Да ну», «Я не ем такое».

Страдать он будет потом, но молча. Будет ходить по дому грустный и считать дни до срока, когда мы с ним по миру пойдём.

Сперва я папу мучил. Разломлю мандарин при нём так, чтоб сок ему в глаз брызнул, разложу оранжевые ломтики прямо перед ним, и ем.

Но папа смотрит, как я ем, и сам не ест ни кусочка. Только в конце не удержится и робко возьмёт один ломтик.

«Я только попробовать... Фу, гадость какая, чавк-чавк-чавк».

Потом отряхнёт руки, оближет пальцы и торжествующе скажет: «Я такое не ем!» И уйдёт пить чай с серым хлебом и самым дешёвым, старым повидлом, которым я, по первой, чуть ботинки не почистил.

Если я приношу что-то с рынка, чтобы он поел по-человечески, это из дому беги. Скандал будет на два дня, причём папа так кричит, что, боюсь, все вены на лбу полопаются на хрен.

Поэтому мне стало ужасно везти. Как ни выйду вечером, обязательно что-нибудь найду. То пакет с хурмой. То виноград.

Прямо россыпью. Валяется, блин, еле собрал, надо только помыть хорошо.

Папа, как все люди, считающие себя очень хитрыми, совершенно простодушен.

И каждый раз счастлив, это ж бешеные деньги сын находит каждый раз.

Сегодня я нашёл великолепные гранаты. Разломили в чашку зернистые, упругие жемчужинки, налитые светящимся красным соком, прямо в прохладный белоснежный фарфор.

Папа, счастливый, грызёт их, и похож на сухонького, глазастого бурундука. А я гранаты эти и вправду не люблю.

За такое бабло — да меня жаба задушит, на хрен.

Любой тяжёлый день можно исправить, если в магазине есть мороженое, а дома — папа.

Купил папе мороженого, и мы сейчас будем смотреть «Парфюмера».

Представляю уже, как папа офигеет от такого кино, и од-

но это наполняет меня радостью до краёв. У нас есть чистый дом, во дворе лохматая собака, в доме кошка — славный охотник на мышей, в телевизоре «Парфюмер», а в руках — мороженое.

Я построил этот мир, посмотрел на дело рук своих и сказал, что это хорошо.

Пришёл уставший, замёрзший и злой, наварил отцу его любимой пшённой каши. Придёт, думаю, с холода, а тут его любимая горячая каша! Зажарил сала с луком, заправил.

Папа орал два часа. Зачем столько наварил, да он знает, где пшёнка (пшёнка!) дешевле. Это я ещё сало с луком успел влить в кашу до его прихода, а то отдельный скандал был бы.

Каши, однако, поел. С удовольствием. То-то мне и радость.

Хорошо ест, не отдам его в детский дом. И в интернат для трудных подростков не отдам. Он же меня когда-то не отдал.

В зоопарк не отдам тоже. Все звери от его воплей с ужасом разбегутся на фиг.

Зато кошка Котася перевоспиталась. Вот что значит вовремя по жопе.

По ночам тишина, орёт и бегает днём. Переместилась для ночлега из спальни отца ко мне в изголовье. Прям над головой теперь спит, на подоконнике, и иногда спускает хвост прямо мне на лицо. По ночам я слышу уютное кошачье причмокивание во сне. Ей, наверное, её мама, кошка Мусяка, снится.

А мне ничего не снится. И блохи не кусают.

Скоро зима.

Папа, пытаясь противостоять хаосу этого мира, собрал все початые спичечные коробки в доме и аккуратно собирает из них полные. Лицо у него при этом такое, будто он душит новорождённых котят. Я пытаюсь ему в этом не мешать, называя это оптимизацией и развитием мелкой моторики.

Я сейчас качаюсь в огромном гамаке любви. Один его край держит мой папа, другой сестра.

Её сейчас нет рядом с нами, она живёт в далёкой Америке, но всё равно она всегда здесь, я знаю.

Мои глаза полузакрыты, и лишь холодный собачий нос, приветливо тыкающийся мне в бок, и тёплые, старые кошки, похожие на варежки из детства, круглыми головами трущиеся о моё лицо, нарушают мой покой.

Я чуть приоткрываю глаза и вижу, как надо мной мерно раскачивается затянутое лёгкой дымкой тихое небо, похожее на пар над свежесваренной кашей, и ветки яблонь, налитых волшебным, тягучим соком, который выступит на них скоро белыми цветами.

Вот вы думаете, это так просто, ну, сварил ужин, подумаешь, работа.

Вы просто не знаете, что это квест, со страстью, бешеным ритмом, отчаянием, победой ценой, правда, может быть, воспаления лёгких.

Был у друга-художника Вити Бабанина, нужно было переговорить. Вернулся домой.

— А? Пришёл??? — папа кричит так, что у меня уши, как два моллюска, готовы закрыть створки.

— Папа, да, я пришёл, незачем так кричать.

— А??? Кто кричит???

Захожу в зал — папа сидит в наушниках.

— Балет Моисеева, то-то красота!!! — ревёт папа так, что Котася прыскает под кресло.

Я аккуратно освобождаю его ухо от колпака наушника.

Папа смотрит на меня счастливыми глазами.

— Каши хочу!

На ужин есть суп, куриные окорочка и свинина, но раз папа, душа моя, хочет каши, будет ему каша.

— С мясом или сладкую?

— Сладкую!!! — снова ревёт папа, поправивший наушники, мне вслед.

Снова накидываю куртку на футболку, свитер я уже снял, ничего, тут рядом, иду в магазин.

Так, пшёнка хорошая, вот она, сладкую значит... чернослив, курага... а может, творожной массы в кашу добавить?

Мой полуразряженный телефон дёргается в кармане.

— А? Ты? Не бери пшено в пакетиках, как в прошлый раз, рассыпная в два раза дешевле! Не бери! Слышишь?

— Слышу, не беру.

Ха, заметишь ты там. Отстояв очередь в кассу, скорее несу всё это разноцветное добро домой. Холодает, в Крыму штормовое предупреждение, ну, тут рядом совсем.

Ворота закрыты. Ключ у папы. Папа в доме. Ключом он закрыл калитку за мной, неизвестно зачем. И ушёл в дом. Звукоизоляция хорошая. Звонок не работает, родителям было некогда его чинить, надо было сносить стены в доме и строить их заново, это интересней. Вытаскиваю телефон — а он сел! Папа вызвонил последние проценты заряда, да на морозе вообще всё разряжается быстро. Но вдруг чуть-чуть? Мой старый Самсунг заманчиво рисует синее колечко на экране и тут же гасит его — всё. Не могу. Извини.

Барабаню кулаком в ворота — это больше от отчаяния. Собака Белка, убедившись, что это я, быстро перестаёт лаять и виляет хвостом. Дескать, ну, у людей свои причуды, хочешь пошуметь снаружи, шуми, я что.

— Папа!!! — это тоже крик отчаяния. Вокруг тишина, белый снег в темноте, сгущающийся мороз и я в кроссовочках и лёгкой куртке чуть ли не на голое тело. Папа внутри дома, похожего на крепость, не пролезешь, сидит себе в тепле, смотрит балет Моисеева. В наушниках, конечно.

— Да ядрит твою не мать!!! — мне не стыдно, просто когда орёшь, всегда теплее.

Замерзание начинается с конечностей, женщинам, кстати, не понять всю его полноту, как и сакральный смысл этого наблюдения...

Луплю кулаками в железные ворота, надо же согреться. И, говорят, в стрессе полезно что-нибудь поломать.

Балет Моисеева... Что ж он длинный такой! Когда же антракт?

Проходит ещё минут десять. Не смешно ни фига, с разряженным телефоном я даже такси вызвать не могу, не ехать, погреться хотя бы...

— Папа! Слышишь ли ты? — надо почаще так орать,

вдруг когда-нибудь Остапа в «Тарасе Бульбе» озвучу, это именно та, нужная интонация, мне за один этот крик «Оскара» дадут.

Наконец в окне мелькает силуэт, папа вышел на кухню, чая захотел. Это так трогательно.

— Папа!!! Да твою мать, а? — силуэт неспешно уходит из кухни, папа аккуратно гасит свет.

Рискуя вынести окно, леплю уже бесчувственными пальцами ком снега пополам с мёрзлой землёй и запускаю в стекло.

Бемц! — выдержало.

О, папа возвращается. Из дверей высовывается несколько всклоченная наушниками голова.

— Папа — .... — отвалятся — .... — внуки — ...уя!!!

— О, а ты не дома, что ли? Ты где был?

— Может ты меня запустишь всё-таки?

— Ща. Оденусь. Ох, сколько с тобой возни...

А-а-а-а!!! — Ну, немного подождать ещё. Отец, накинув старый кожух, отпирает мне ворота. Психоаналитики правы — я никогда не ощущал Эдипов комплекс столь явно.

Ой, тепло, тепло! И свет!

Сумка плохо открывается, заиндевела на морозе.

— Ты на хрена ворота закрыл за мной?

— Да я думал, ты дома...

Папе тяжело признать, что он это сделал машинально, я, конечно, мог бы спросить, кому он тогда звонил, не считая того, что уходил я на его глазах, но уже не могу. Губы прилипли одна к другой.

Фиг с ним, прошедшая беда — не беда уже.

Так, вот он чернослив, курага, коробку с пшеном порвать незаметно...

— Через полчаса будет каша.

— Да на хрена, я прекрасного супа поел...

Дома тишина. Папа сидит сытый, в наушниках, смотрит вторую часть балета Моисеева.

Я пью горячий чай с малиной. Вокруг светло, тепло и мягко.

Скоро мне снова в дальний путь. А потом обратно. А потом снова. Да что об этом думать.

Папа счастлив сегодня, и я тоже. Счастье — это когда все дома.

Папа проснулся свеж и бодр, и тут же стал делать гимнастику. Он её делает всю жизнь, когда-то у отца было прокачанное, сухое тело, он бывший гимнаст. Давление после сна пришло в норму.

Сказал ему с утра, не подумав, шутливо бурча: «Я из-за тебя вчера дома остался» — он сильно расстроился.

Всё-таки как важно следить за языком.

Удивительно, как проявляются гены. Я вообще похож на мать, физически. Это я душой и лучшей частью мозгов в отца. Говорят, дети, внешне похожие на мать, счастливы. Пусть говорят, приятно.

Но вот что интересно: когда отец меня таки допечёт и ему таки прилетает сдачи, становится ясно, почему он успокаивается и даже счастлив.

Интонации, жесты, даже выражение лица у меня в такие минуты — точь-в-точь как у матери, мне это ещё бывшая жена говорила.

Может, папа поэтому, неосознанно, третий месяц ходит вокруг меня и просит, просит шиздюлей себе на радость?

Он прожил с этой женщиной сорок лет. Моисей бы и то, учитывая характер моей мамы, за это время с ума сошёл.

Ну, папа не сошёл. Так, слегка.

Интересная особенность пожилых людей: им нужно вмешаться во все твои дела и знать всё.

— Максим, а почему? А как? А может, так? Не, а я подумал, и вот что...

— Папа, не дёргай меня, пожалуйста.

Такие диалоги очень часты.

Правда, так я отвечаю, когда у отца слишком много идей на час времени. Обычно я мягче: «Папа, всё нормально, всё под контролем, пойдём лучше чаю...» или «Виктор Васильевич, оставьте этих мелочей...»

Теперь папе пришла идея, что я тяжело болен и попаду в больницу.

— Ты вот сидишь и не знаешь, как это бывает.

Парировать нечем, слава богу, действительно не знаю.

— Иди поешь чего-нибудь.

Есть не хочется. Но папа успокоится, вид жующего человека всегда жизнеутверждающ, но как можно есть, когда не хочется этого делать? «Ложка за маму, ложка за папу...»

— Да я чаю.

— Ты так скоро умрёшь. И мне ещё больше хлопот...

Тяжёлая была ночь, вечером почувствовал себя нехорошо. К утру я совсем выздоровел, но, видимо, организм в борьбе спалил все витамины.

— Папа, я пойду вздремну полчаса, не хулигань.

«Это были его последние слова, — мелькает в голове, — интересно, сколько людей на моих похоронах заплачет?»

И вдруг понимаю, что будет-то народу всего ничего — одной бутылкой водки помянут.

Тьфу, что за фигня.

А это папа на меня смотрит так, будто прощается. Это на самом деле очень хороший взгляд. Но вытягивает все соки.

И папа оказался прав. Прикрыл глаза на час — проснулся в пустом доме.

Убежал куда-то, опять без спросу.

У меня до сих пор такое чувство, что мама вышла в магазин и задерживается где-то.

Третий год уже.

Я вижу лицо отца, он улыбается мне. Вижу лицо своей сестры, и мне всё время хочется, младенчески смеясь, схватить её за щёчки.

И весь наш дом, вся улица, деревья на ней, это светло-голубое небо пронизаны такой любовью, что перехватывает дыхание.

Невзирая на мороз, снег и гололёд, папа снова удрал погулять с утра пораньше. Опять напялил на голову шляпу, зимнюю шапку носить не хочет. Хорошо хоть, меховые ботинки надел, еле упросил. Уже обед близится, где этот несносный старик?

О, явился шатало, с обмёрзшими до манекенно-белого цвета ушами. Счастливый ещё такой, с кульком конфеток в таких же белых руках. Привезённые мной из Германии лайковые пер-

чатки папа уже успел посеять на улицах Симферополя, к весне вырастет перчаточное дерево. Впрочем, это вряд ли — папа потерял не одну перчатку, как все нормальные люди, а сразу две. Так что, скорее всего, не дадут добрые люди семенам прорасти.

Но раньше я сдохну тут.

— Где ты был так долго?

— В город ездил. Смотри, там конфеты уценили...

— Почему ты шапку не носишь?

— Опять? Не хочу.

— Холодно же!

— Да не холодно ни х.я!

— Ты опять материшься?

— Да иди ты в жопу уже.

Вот так разговаривают современные отцы, со своими родными сыновьями.

Вот что ним делать? Я строгий противник телесных наказаний. С детства крайнее отвращение питаю. В угол не поставишь, имел он меня и этот угол, само собой.

Мультики он не смотрит. А сладкого лишить у меня рука не поднимется, что я, фашист, что ли? Вы бы смогли вырвать у кого-нибудь из рук кулёк карамелек? Вот то-то.

Я сейчас приболел и интересные вещи наблюдаю. Папа делает всё сам, пытается заботиться обо мне даже. И он посветлел лицом, ушло постоянное напряжение из бровей.

Выходит, отец должен о ком-то заботиться для комфорта?

Наверное, всё-таки нет. Известно, как пожилому человеку порой необходимо чувство, что он нужен, что без него никак. А это чувствуется не тогда, когда хлопочут вокруг него, а когда нуждаются в нём.

Интересная мысль, простая, но когда это проявляется так очевидно...

Папа — это вампир. Я его понял. Надо будет его чесноком закидать.

С утра ныл, орал и матерился.

Днём — то же самое, только громче.

Причины нет. Настоящие мужчины не ждут милостей от природы.

Я занимаюсь важными делами. Реально очень важными, ничего нельзя перепутать. Мне предстоит долгая дорога со всеми вытекающими, плюс ещё много вопросов надо решить.

Папе скучно. Ходит по дому, ищет немного радости.

С этим сложно, я очень внимателен и стараюсь ничем особо не радовать старика.

Так, это прилёт, значит, во Внуково или Шереметьево... А, ответ пришёл, землю в кадастровый реестр... Господи, кто же названия такие выдумывает...

Внезапно я подпрыгиваю от неожиданности и забываю всё на свете.

По дому разносится протяжный, торжествующий вопль медведя-шатуна, обнаружившего беззаботно спящего зайчика после того, как в заячье говно наступил.

— Ты! Опять! Не закрыл! Крышку! У своего! Фи-зи-о-раствор-р-ра!

Последнее слово папа просто выдавливает из себя, весь воздух и мощь голосовых связок он потратил на первую часть тирады, однако договорить нужно обязательно, иначе кайф не тот.

Да, я иногда забываю закрыть крышечку у раствора для своих контактных линз.

— Папа, что ты так кричишь, я занят, возьми да закрой...

— А-а-а!!! О-о-о!!!

— Ну дай поработать...

— Осталось, чтобы кошка опрокинула, и я поскользнулся на этой луже. И сломал ногу!

— Папа, хватит.

— И руку!

— Да ядрит...

— Голову разбил!

Я захлопываю ноутбук. Набираю в грудь воздуху.

Вы просите шиздюлей? Их есть у меня!

...Через пять минут я падаю в кресло совершенно опустошённый, а папа, чего-то напевая, садится проверять чертежи.

Я в унынии. Наверное, я переборщил. К тому же я за-

рекался не материться, тем более в почтительном разговоре с собственным отцом. Короче — стыдобище. Однако ещё подвываю, как побитый пёс.

— Представь вот, я сейчас начну у тебя из-под носа чертежи выхватывать.

— В лоб получишь, хи-хи-хи!

Поражённо смотрю на отца. Счастлив! Расслаблен и счастлив.

Ему сказали, что он плохой, обосновали и подписали: «расстрелять».

Значит, можно больше ни о чём не беспокоиться, хуже уже ничего не будет.

Женить, срочно женить, на какой-нибудь карге.

В Германии я бы, честное слово, какую-нибудь домину с хлыстом вызвал на дом. Пока она за ним бы бегала, а он с хихиканьем удирал, я бы понаслаждался наконец спокойной, цивилизованной обстановкой в доме.

Погладил отца по голове — чуть меня не убил. В нашей семье не приняты тактильные контакты. Вот наорать, это да.

У меня большое хозяйство. Сегодня надо закупать коровьи головы и рубить их на морозном дворе, на зиму собаке Белке. Котася ходит за мной по пятам и орёт так, будто её душат — похоже, она дышит только тогда, когда её гладят, причём обязательно двумя руками.

Папу я откачал немецким креатином, проконсультировавшись с Эрнестом Кацевым, замом главврача в крупнейшей баварской клинике и по совместительству моим школьным другом, и откачал себе на голову. После месячного курса папа ходит бодр и свиреп, рычит как молодой лев, в нём проснулась тяга к экспансии. Женить, срочно женить.

Надо сказать, что ни один албанец не выносил мне мозги так, как родной отец.

Всё, что я ни делаю, плохо и неразумно. Суп жирный, а каша сухая — он такое между завтраком, обедом и ужином не ест.

Очки он опять потерял — не иначе потому, что я где-то

на них наступил и выбросил потихоньку. Зачем я выкинул ломтик лимона? В кофе клал? И что, лимон после этого перестал быть лимоном? Дай сюда, я с ним чаю попью.

Куда я поехал на ночь глядя? Опять к проституткам? Ох, ты догуляешься. А кстати, сколько стоит?

— Папа, какие проститутки, я еду посидеть с друзьями за кофейком, картинку сменить...

— Что? Ты вообще жениться думаешь или нет?

Из моих друзей он уважает только Бабанина. Витя ему настоящую бескозырку подарил, с ленточками, и этого папа просто так забыть не может.

Дотащил мешок дармовых рогатых голов до дома. Папа их выклянчил бесплатно, я думал, со стыда сгорю. Когда этот цирк начался, я отошёл в сторону — это не мой мальчик.

Тогда папа стал кричать на весь рынок — «Максим! Куда ты ушёл! Иди скорей сюда, нам головы бесплатно отдали!».

Радостный ещё такой.

Со злости вместе с головами разрубил собачий коврик и ведро.

Зашёл в дом, папа вышел во двор. Сижу как обосравшийся кот.

Вот уже слышу начало вечерней арии: «На хера мне такие помощники нужны!»

Всё. Папа теперь сделает мой день.

Папа всегда был очень лёгким человеком. Мне всё время казалось, что он где-то не здесь частью своей души. И там, где он не здесь — очень хорошо, светло и всегда играет тихая музыка. Он был прекрасный конструктор, у него семь авторских свидетельств. Способ, которым в землю закладывается грунт вместо выбранного угля, чтобы она не просаживалась, придумал мой папа. Не знаю, применяется ли он сейчас, но когда-то успешно применялся в шахтёрской Караганде. Папа за это получил маленький значок, красивую бумажку и сколько-то десятков рублей, но он не обиделся, папа изобретал легко, вполруки, словно мимоходом.

Папа любил пошутить, поискрить, ко всему относился будто немного понарошку.

Сейчас уже трудно в это поверить.

За всё время, пока я с ним, он улыбнулся три раза.

Для того, чтобы расслабиться, ему нужно почувствовать себя виноватым, иначе он в стрессе и виноватит всех вокруг.

Парадокс, но мне, сыну, приходится строжить его и упрекать в диктаторской форме, папа тогда молодеет на пару десятков лет, приходит в задумчивое, мечтательное состояние, которого хватает иногда даже на пару часов. Потом брови снова хмурятся, тревожность растёт, движения его становятся нервны и резки, а разговаривать он начинает только криком.

Мы продолжаем войну с блохами, старых убили, выросли новые из куколок. Папа уехал за новым химическим оружием на другой конец города, там «Нео дихлофос» дешевле. Если по дороге болтик найдёт, будет вообще счастлив. Меня не взял, чему я, надо сказать, грешным делом уже обрадовался.

У меня есть несколько часов тишины и покоя.

Отремонтировал ему замок на куртке, почистил обувь. Думаю, может на очки резинку повесить, чтобы не терял. Столько времени на поиски уходит.

И подумал, что надо обязательно завести детей. Когда человек становится в жизни не нужным никому, и ему ничего уже от жизни не нужно, у него остаются только они. А пока человек любим и ему есть кого любить самому — ничего ещё не пропало и смерти нет.

Сегодня был день рождения мамы, и мы с папой накатили по чуть-чуть. Я пива, а папа хорошего коньяка. Вспоминали прошлое, посмотрели фотографии. Я рано ушёл спать.

Мы с папой пришли к выводу, что жизнь — странная штука, и главное на свете — любовь.

— Нельзя так таблетки пополам колоть...

— Тай, сиди ты, понимаешь тут.

У папы желание всё делать самому. Я не препятствую, не только потому что ленив, просто знаю, как необходима дея-

тельность и особенно мелкая моторика старикам. Это говно — убирать, сумки таскать — работа грубая, сам справлюсь.

Папа колет себе таблетки от давления. Нужно по полтаблетки. Проблема в том, что таблетки российского производства — то есть всё сделано человеку назло. Они мало того что не разделены чатинкой пополам, так ещё и округлой формы.

Папа морщится от напряжения, пытаясь кухонным ножом попасть точно в середину и, зафиксировав момент, в одно короткое мгновение резко надавить. Короче, папин результат — самое близкое сравнение — пуля из говна.

— Папа, дай мне.

— Да отстань.

— Папа, ну ты только крошишь, вон уже в порошок три штуки, так нельзя.

— Кто сказал, что нельзя?

— Мой отец говорил, что нельзя так таблетки колоть.

Пока папа впал в сюрреалистический транс, ища в нём подвох, забираю у него нож.

Щёлк-щёлк-щёлк по блистеру, я же всё-таки боец кунг-фу.

Папа смотрит на минутное дело рук моих, дело, на которое он потратил уже час своей жизни.

— Хе, а твой отец был умный мужик.

— Его надо слушаться, я считаю.

Папа накосячил. Ходит тихий, сам в себе, и только время от времени высовывает кончик языка, дескать, это плохой язык виноват, а не он.

— Как ты мог такое сказать?

— Ну я в сердцах, одномоментно.

— Вот я, как бы ни злился, никогда такого не скажу.

— Ну да, ты умный, развитый...

Делаю вид, что не слушаю. Молча смотрю в одну точку (в фейсбук), я страдаю. Даже щёки надул, типа, заплачу сейчас. На самом деле я так сдерживаю смех.

— Красивый.

— Вот. А ты такое сказал.

— Ну, я не подумал!

Я сегодня снова, вечером, хочу в клуб. Там мои старые товарищи, там вкусный чай, драки, и мне рады. Силы набираюсь там. Но папа этого не понимает. Туда на маршрутку трать, там с этими старыми кулями трёте яйца друг другу без толку, потом на такси (на такси!) обратно.

Но папа хитрый. И он накосячил.

Он сморозил сегодня: «Ненавижу тебя!» Мат я ему прощаю, это его молодит. Но на эту фразу я обиделся. Ну или сделал вид, что обиделся. Я ведь тоже хитрый.

— Максим, а ты разве сегодня не поедешь никуда?

— Не знаю. Настроения нет.

— Ты... Это... Что ты там один чай, на, съешь что-нибудь.

— Не надо мне. Аппетита нет.

Папа в смятении залез в кровать и накрылся с головой. Потихоньку хихикая, собираюсь.

Так ему и надо. Пусть думает, что говорит.

Отец очень любит оперную музыку. В результате включает её на полную мощность, под неё копается в доме, ест и даже спит.

Мама решала эту проблему рабоче-крестьянски: «Витя! Выруби этот нудёж, голова болит! Ты вообще нормальный человек?» Папа расстраивался, чувствовал себя непонятым в лучшем, и, скрепя сердце, делал тише, и только после очередного крика мамы сокрушённо выключал совсем.

Я же, немного подумав, говорю вкрадчиво: «Видишь ли, папа, нельзя жить двадцать четыре часа в музыке...» Папа сразу впадает в транс и тут же выключает, не теряя настроения.

Оборудовал ему компьютерный уголок. Выкинул стульчак без спинки, поставил удобное кресло. Навёл немецкий порядок на столе, карандаши в карандашнице, записная книжка сложена в уголке, пароли под днищем ноутбука.

Папа приходит из магазина:

— Чего? На хрена?

— Папа, ну так удобней.

— Кому удобней? Мне неудобно.

— Ты сядь, попробуй.

— Не буду. Устроил тут!

Я по-восточному коварен.

— Папа! Ты за кресло деньги платил? Тридцать лет назад?

— Ну, платил.

— Так почему ты на нём не сидишь? Деньги на ветер, получается.

Папа неуверенно мнётся. Думает.

— Да отстань, нам это кресло родители мамы подарили...

— Так пусть без толку пропадает теперь? На нём Котася спит — не жирно ли?

— Котасю я гоняю... А карандаши зачем мои трогал, стакан тут ещё какой-то...

— Карандаши валяются как попало, рукой махнул, карандаш упал — сердечнику капут, что делать?

— Новый куплю.

— Новый? Ты знаешь, сколько сейчас стоят карандаши? Богатый ты стал, я вижу.

Папа о чём-то догадывается, но сражён моей логикой. Ходит по дому, но уже не такой мрачный. Садится за компьютер, вздыхает.

— Ну что, удобно?

— Да не знаю я. Нормально.

Потом, пожевав губами, обиженно добавляет:

— Ну тебя на хер, тебя бы судили, никогда бы не сел с твоим языком.

Очень любит оперную певицу Юлию Лежневу.

Когда папа начинает плохо себя вести, мой убойный аргумент: «Всё! Встречу Юлю на какой-нибудь тусовке, расскажу ей, что ты ходишь по двору босиком и материшься как сапожник. Я всё ей расскажу, лопнуло моё терпение».

Папа моргает глазами.

— Кто матерился? Когда? Я сегодня с утра не матерился.

Надевает новые тапки и начинает передо мной маршировать.

— Максим, ты знаешь, ты, это... встретишь — ты женись на ней. Она хорошая.

Когда папа клеит марку на конверт, чтобы отправить письмо старинному другу, или суетится над противнем запечённых яблок, я смотрю на его долгие пальцы, немного неловкие, слегка непослушные. И внезапно ты чувствуешь, что больше всего на свете ты любишь и эту марку, и конверт заодно, и эти неспешные ладони, и воздух вокруг, и запах тёплой яблочной кожуры, любишь больше всего на свете, и ты сейчас, здесь, эти мгновения живёшь, и рад жить и видеть всё это прямо сейчас, а не вспоминая.

И ничего на свете нет у тебя дороже этих пальцев, бережно ощупывающих половинки яблок, будто птенцов, старого противня и марки, старательно приклеенной на белый конверт.

Когда-нибудь я буду задумчиво укладывать яблоки в печь или клеить марку. И улыбаться каждый раз. Те, кого любишь, уходят только с нами.

Мой папа видел доктора Лизу только по телевизору пару раз.

Он посочувствовал мне, но и только. В конце концов, папа за всю мою жизнь ни разу не видел моих слёз, ни к чему теперь что-то менять.

И когда на экране телевизора в эти чёрные дни снова показалось её лицо, и плечи мои сами поднялись и просто обрушились вниз, и я, изо всех сил сжав зубы, снова не удержал бесполезную воду из глаз, я вдруг увидел через дверной проём, что мой папа, находясь в другой комнате, не видя меня, не зная Лизы, неожиданно даже для самого себя заплакал тоже.

И станут любящие единой плотью. Я уже больше сорока лет одна кровь с отцом.

Я нужен ему. Он нужен мне. Разве мы станем менее нужными друг другу, когда кто-то из нас уйдёт?

Любовь никогда не перестанет, всё простит и стерпит, всё покроет и переживёт.

Это единственное, что ценно на свете. И единственное, что нужно искать. И жить, обязательно жить, полнокровно и радостно, для любви и во славу её.

Всё, больше папу в гости не беру. Невоспитанный совершенно.

Вчера снимал с него брюки, из кармана что-то выпало, сегодня подобрал — недогрызенная печенька.

Наша дальняя родственница, тётя Мотя, печёт охренительное печенье.

Вот папа, видать, ел-ел, последнюю не доел и припрятал.

Папа сварил компот. Варил он его долго и старательно, с медитативным выражением лица помешивая в кастрюле. Когда компот немного остыл, папа перелил его в банку и накрошил поверх свою гордость — выращенные в кадке лимоны. Потом он долго его хвалил и хотел, чтобы я выпил ещё кружечку.

Я пил, потом ещё, а потом не смог. Ну, разве что за папу ещё одну.

Компот, однако, посмотрел на меня, посмотрел, и на второй день заплесневел. Так бывает. Почти три литра прекрасного компота. С лимонами.

Папа пришёл с работы, увидел банку и понял, что его предали. Причём сразу двое — и сын, и компот.

Сын так и не выпил ещё кружечку, а компот вырастил к лимонам грибы. И всё ему, конечно, назло.

Папа издал крик отчаяния.

Он схватил банку с компотом на руки, покачал как ребёнка, и стал думать, нельзя ли извлечь из него хоть немного пользы.

— Папа! — закричал я.

— Я вылью-вылью, — соврал папа, не отрываясь от своих мыслей.

Диалоги мои с отцом весьма кратки, лапидарны, мы с ним общаемся на беззвучной волне, лишь иногда переходя в звуковой диапазон.

— Я сам вылью, — сказал безжалостный я и, выхватив у него банку, побежал к унитазу.

— Нет! — закричал папа, простирая ко мне руки.

— Папа! — снова парировал я.

Папа сказал, что в унитаз компот выливать нельзя, цис-

терна уже почти полна, и незачем в такую сырую погоду ускорять страшный момент её очищения.

Я, как послушный сын, на бегу изменил траекторию и помчался в ванную, неся весело булькающую банку на вытянутых руках как обосравшегося младенца. Плевочки плесени, плавающие на поверхности мутной жидкости, приветливо замахали папе парусами, предлагая их спасти.

— Нет! — снова закричал папа.

— Я в раковину.

Папа начал делать рубящие движения кулаком в воздухе, словно бил по спине мой согнувшийся перед ним астрал.

Раковина постоянно забивается, и компот сделает так, что он не сможет больше умываться.

— Компот жидкий! — крикнул я, но папа, стуча босыми мосластыми ногами по гладким доскам пола, уже меня настиг и выхватил банку.

— Я сам вылью, — буркнул он и, хитро улыбаясь, стал надевать тапочки, собираясь выйти на улицу.

— Я тебе не верю, — сказал я и пошёл за ним.

Папа долго искал помойное ведро, которого в жизни во дворе не было, потом, надо же, нашёл чистое и стал аккуратно выбрасывать в него компот.

— Я туда тапок положу, — пообещал я.

Папа посмотрел на меня испуганными глазами, потом глянул на свои чистые тапочки, которые мы только вчера постирали, и кивнул головой.

— Да клади чего хочешь, — буркнул он и пошёл в дом.

— Папа! — вслед ему с отчаянием сказал я.

Папа обернулся.

— Ну, я потом вылью на улицу, — соврал он снова.

Когда я зашёл в дом, отец уже сидел на диване и от избытка хитрости что-то мурлыкал себе под нос.

Выдала его привычка к одиночеству. Я ведь тоже иногда разговариваю сам с собой.

— Перекипятить, перекипятить, — стал незаметно для себя напевать папа и вдруг перехватил мой взгляд. Папа понял, что всё кончено.

Я вышел во двор, видя, как он следит за мной через окно обречёнными глазами, ещё на что-то надеясь.

Но я твёрдой рукой взял ведро и стал выливать компот в клумбу.

— Не туда! — снова ударил кулаком воздух папа, пытаясь хотя бы возглавить процесс.

— Почему? — резонно спросил я.

Но папины удары кулаком слабели пропорционально количеству жидкости в ведре, и в конце он просто махнул рукой.

Я зашёл в дом, решительностью движений подчёркивая, что сделал жестокое, но необходимое дело.

Папа не хотел со мной разговаривать. Долго чесал себе шею и спину, бормоча «Эх!», и лишь уходя в спальню, обернулся и буркнул:

— Вы с сестрой так похожи. Та тоже...

И снова обречённо махнул рукой. Дети удались ему явно хуже, чем компот.

Тёмный экран. Папа опять не настроил свет возле ноутбука. Вижу только светлую полоску вверху экрана — это люминесцентная отцовская лампа.

Из мягкой домашней темноты доносится только его ровный, глуховатый голос.

Я снова в Гамбурге, нужно ждать новой визы. Отец снова один. Скорее бы уж мне вернуться.

— Сегодня что-то особенно сильно. Покачивает и покачивает. Никуда не ходил, лежу целый день.

— Может, скорую?

— Давление померил, нормально. Для меня. Они не приедут.

Я молчу. Думаю. Папа молчит. Яркий, узкий свет неоновой лампы и большая темнота.

— Ты телефон держи рядом, возле головы положи. Выставь на экран номер тёти Веры, нажмёшь ночью, если что, она поймёт.

— Так и сделал.

— Воды бутылку поставь на пол. Крышечку открути заранее...

— Да.

До нового разрешения на въезд ещё почти три месяца. Нет, уже меньше. Скоро. Но какая разница между «скоро» и «сейчас»...

— Максим, ты это...

— Что?

— Помнишь, у тебя была девушка Света?

— Помню.

На самом деле я не помню, конечно. Какая именно Света? Но я киваю головой — папа имеет в виду одну. Папа — единственный человек на свете, который видел многих женщин в моей жизни, каждый раз говорю ему: «Папа, смотри, какая у нас с тобой теперь девушка...» — он отмахивается, но смотрит фото, мне кажется, с удовольствием.

— Света, помнишь? С которой ты тогда, в начале лета, ну, хорошая которая.

— Помню, папа.

Папа молчит. Подбирает правильные слова. На экране не видно ничего, но мы будем видеть друг друга и не имея глаз, слышать, когда другой молчит.

— Максим, ты найди её и женись на ней. Хорошо?

— Хорошо.

— Вот. А теперь я пойду спать.

Александра Артамонова

# Отметины

Это цветение — нестерпимая мука для всех. Когда же, наконец, пора, уже всё можно и почти нет сил, то начинает лезть из каждого куста, из каждой кроны, из каждой пазухи, из каждой свежей раны. Сладкий гной липы, липкая сукровица жимолости, чистая и холодная влага черёмухи.

Пионы пока крепко сжаты в кулак — нужно ещё немного тепла, чтобы размякла, ослабила хватку и помахала тебе издали или протянулась и погладила по бедру вблизи, мятая, алая и изувеченная пятерня.

Крапива дотянулась до смородины и обожгла её — листья вздулись красными волдырями. С этого куста не хочется больше ягод.

Тополь обречён: нарыв вскрыт, коконы пуха повисли изможденно и устало, и сломанные ветки белеют влажной древесиной и ноют, как поют, но ничего, сейчас пройдёт и станет намного легче.

В окна банка на первом этаже нашего дома вставили тонированные стёкла. Ближе к началу нового дня один сиреневый куст встречает в безопасной, практически зеркальной глади своего двойника и придирчиво смотрит — у того ещё не так много ржавчины в кистях — а узнав, от радости трепещет в темноте, и льнёт, и пытается дотронуться, проверить, правда ли так, но слишком далеко.

Мы выезжаем из города засветло, чтобы больше увидеть, и встречаем в дороге рассвет. На солнце тёмное светлеет, мокрое высыхает, но не всё белое становится красным. В дороге ты замечаешь, что полоска сухой мёртвой травы в поле так же бела, как прядь моих волос, зачёсанная со лба назад, и проводишь рукой по моей голове, чтобы лишний раз убедиться в сходстве. Это трезвая, нежная ласка. Потом ты вспоминаешь, что такая же прядь была и у твоего сына в детстве, когда ему было десять лет.

У границы на паспортном контроле мы ссоримся из-за мелочи, припоминаем старую обиду и городскую ревность и становимся не самими собой, а чужими людьми, третьими лицами, ты — мужчиной с седой бородой и тонкими пальцами, я — девушкой, моложе тебя ровно на половину уже прошедшей жизни.

Жарко, вода в бутылке быстро нагревается, и её неприятно держать во рту. На шоссе у какого-то посёлка они делают остановку, и мужчина выходит, чтобы купить ягод. Пока он несёт целлофановый пакет земляники, девушка смотрит, как проезжающие мимо машины вместо узника, приговорённого к смертной казни через четвертование, тянут за собой по асфальтированной дороге весь этот жар, пытаясь разорвать и разнести во все стороны, но безуспешно. Слишком пыльно, и хочется умыться. В машине радио говорит на незнакомом языке. Они съедают по пригоршне. Девушка подносит руку к глазам: под ногтями красный сок, как будто она только что расчесала рану, становится чёрным, как будто она рыла землю. Остатки ягод мужчина выбрасывает в окно. На асфальте кулёк превращается в мокрое бурое пятно, раздавленного неопознанного зверя, и следующая машина притормаживает перед ним, будто ещё можно что-то исправить.

Перед границей по обеим сторонам дороги болотца и ольха, за границей — распустилась акация, и её запах, горячий и сладкий, течёт за воротник против воли. Девушка вспоминает рассказ, прочитанный ещё в школе: в деревне живёт молодая пара, муж с женой, соседний дом сдают дачникам, и те каждый вечер заводят пластинку с этим романсом. Муж пьёт, гуляет, иногда сильно бьёт жену. После побоев она идёт к соседскому забору, прячет лицо в травяную гниль и плачет, а там за забором поют про душистые белые гроздья, которые она никогда не видела и даже не может представить, как они цветут, как пахнут, и, тем более, как сильно можно исколоть все руки, если попытаться сорвать хотя бы одну ветку.

Мужчина и девушка обедают рыбой в кафе у заправочной станции. Ещё мало туристов. Им приносят меню на двух языках. От рыбы становится тошно, и в кабинке туалета девушка ста-

рательно полощет рот, стараясь не прикоснуться губами к ржавому крану. Море видно из-за кустов. По пути в деревню, где у них забронирован номер, они проезжают пустые курортные города — волейбольные площадки, прокат лодок, кафе без людей — всё перед концом света.

Они с трудом находят нужный посёлок на берегу залива и приезжают в гостиницу уже в темноте. Им открывает хозяин, жена ходит где-то рядом, в холле слышно, как она отчитывает кого-то, вставляя в ругань русские слова. Перед входом зреет грецкий орех, и девушка срывает два зелёных ядра на тонкой ветке и кладёт их между рамами в номере, чтобы дозрели за время их отпуска. Она знает, что лучше не пытаться сковырнуть тонкую кожуру — вмиг ладонь и пальцы покроются йодистыми струпьями, станут старыми, вязко запахнут, ничем не отмыть и не оттереть — и перед тем, как положить, перекатывает их в ладони.

В соседнем номере уже спят — за стеной слышен храп и жалобы ненадёжной постели на слишком большое для неё тело. Мужчина и девушка устали от дороги и засыпают, так и не прикоснувшись друг к другу. Под утро мужчина хрипло, будто всю ночь кричал и звал кого-то в зарослях и оврагах своего сна, просит пить. Девушка идёт в общий коридор и приносит воду, и ходит за ней ещё несколько раз, до тех пор, пока он ей не говорит: «Спасибо, я больше не хочу».

Они просыпаются от тишины и спускаются завтракать во двор гостиницы, рядом пожилая немецкая пара пьёт чай. Им приносят плохой кофе и салат. Официант, парень лет двадцати, обслужив гостей, садится за соседний столик, отворачивает скатерть, ставит на деревянный край свою тарелку с жареной картошкой и быстро ест, поглядывая по сторонам. Они знакомятся со своей соседкой — толстой женщиной, которая через год собирается на пенсию. Она русская, живёт здесь уже десять дней и собирается пробыть ещё неделю. Ей нравится тишина, то, что хозяева гостиницы понимают её язык, и то, что здесь очень близко до моря.

До моря четыре километра пешком. Мужчина и девушка берут в баре пива и воды, идут на пляж. По дороге им встречаются девушки из посёлка, они проходят мимо, и от них отчётливо

пахнет тёплой водой и по́том. Одна из них поправила мокрые косы и плюнула в канаву. В бору на каждую травинку нанизан белый пенистый шарик. Эти девушки прошли, и от них запахло.

На море ветер, и купаться холодно. По склонам бегают дети и фотографируют волны. Одна девочка оступилась и, чтобы не упасть, схватилась за шиповник. У неё задралась кофта, и даже с пляжа было видно, какая у неё белая спина. Июнь подходит к середине, а солнце — что в твоём сентябре. Тополиный пух слежался на рукаве лебединым крылом. Если его поджечь, он съёжится, и перед тем, как вспыхнуть, станет комком ваты, пропитанным йодом. Мужчина трогает ранку над верхней губой — почти зажила. Когда он решает всё же немного поплавать, девушка старается не смотреть, как он снимает с себя и складывает рядом футболку, джинсы, бельё, обувь. Когда его долго нет, она подходит к кромке воды и пытается разыскать его среди белых голов беспокойного ревущего стада. Когда она его находит и, успокоившись, решает намочить ноги хотя бы по колено, то стягивает узкие брюки, и мелочь из задних карманов просыпается в песок, медный горячий дождь. И налетает ветер, колет песок по икрам, и становится больно, как в детстве, когда во дворе за сараями была расстреляна прямо по ногам бузинной мелкой острой дробью. Они возвращаются, не пробыв на пляже и двух часов, часть пути идут, взявшись за руки.

Оказывается, что в душевой нет шампуня. Хозяйка гостиницы на рецепшене красит ногти, предлагает мыться тем, что есть, и интересуется: «Всегда ли вы ездите без собственных купальных принадлежностей?» Пока мужчина разговаривает с немцами, девушка стоит под душем, втирает в волосы бежевый обмылок с трещиной и тихо скулит, почти что плачет.

Вечером кто-то из постояльцев с разрешения хозяев устраивает вечеринку: разжигают костёр, жарят мясо, заказывают много алкоголя в баре. Все пьют сперва медленно, потом быстрее, потом включают музыку, мужчины щиплют несчастную акацию и дарят её женщинам за столом. Большую русскую начинает тошнить, и хозяин гостиницы ведёт её не в уборную, а к заливу. Он возвращается через двадцать минут, комкая в руках тонкую

цветную женскую рубашку, и говорит, что нужна помощь. В заливе невозможно утонуть — сколько ни иди, будет по пояс, но женщину всё равно вытаскивают на деревянные мостки. Она в трусах от купальника, вода в заливе уже начала цвести, и к груди прилипла ряска, и от всего тела пахнет речной гнилью. Она смеётся, ревёт, стонет, просит, чтобы её оставили в покое, и вокруг её тела дерево темнеет. Наконец её уводят. Её кладут спать в холле, потому что никто не может помочь подняться наверх. Она быстро засыпает, и хозяйка гостиницы, встречая новых постояльцев, говорит: «У нас очень крепкий сон. Здесь тишина и хороший воздух».

Мужчина с девушкой остаются у залива одни, и, как что-то стыдное, эту натекшую лужу мужчина начинает растирать ногой. У подъёма к гостинице они находят верх от купальника и босоножки, переглядываются и смеются. Ты поднимаешься наверх, а я ещё остаюсь на берегу, собираю найденные вещи в кучу и думаю, куда их отнести — увядшее кружево слишком большого лифчика, коряги когда-то лаковых сандалий. Я оставляю всё как есть, раздеваюсь, захожу в воду и иду до тех пор, пока не понимаю — ещё один шаг, и будет слишком глубоко. Я жду, пока вокруг меня сомкнётся вода и станет совсем тихо, чтобы ударить по ней раскрытой ладонью.

Вода в заливе вздыхает, немного ворочается у горизонта и переворачивается со спины на ребристый живот.

## Дед

Вся его одежда на два месяца поместилась в рюкзак, и до молнии ещё осталось место.

Все остриженные перед отъездом волосы — в половину газетного листа.

Весь утренний холод — в ладонь, которой доро́гой от дома до станции тёр голый затылок.

Отец поместился в прищур. Просьба не уезжать — в осипшее «ладно, как приедешь».

Вся скука и тоска — в ранку во рту, трещину на губе.

Всё ожидание — в щепке, зажатой в кулак.

Стыд — в метёлку мятлика, забившуюся между брючин деда... Зашевелилась трава, скрывающая его от мира, и показалось, что вот выйдет сейчас отец, но из травяной чащи появился дед, сказал «пойди, поешь», и всё горе поместилось в крепкий щелчок. Стряхнул с колена муравья, и стало жалко.

А весь рассказ отцу по возвращении — в короткое «ничего, купались, ходили в поле, в лес, да, я ему помогал, нет, мы не ругались».

Ему постелили в одной комнате с дедом, на раскладушке. Ватное одеяло, белая простыня, вместо покрывала — колючее одеяло из гуманитарной помощи, какого-то грязного цвета, дед принёс рыхлую подушку в песочной наволочке. Сказал, что подушка каждое утро должна стоять горой, и вот, каждое утро его гора норовила завалиться набок, превратиться в холм или дюну.

И в первую же ночь увидел, как подушка рассыпается массой белого песка и стирает с лица земли пашню — бóльшую часть коричневого, очень колючего покрывала; вот огибает рыбацкий посёлок — прямоугольную грубую штопку белыми нитками; вот ползёт через лес и перелесок — два непонятных бурых пятна — к синей полоске, кажется, что к реке, а на самом деле к морю, и сперва насыпает мол, затем, в самом широком месте, — пляж; а потом из последних сил пытается дотянуться до заграницы — нового тёмно-коричневого квадрата земли, начинающегося сразу за морем с ровно вышитых чёрных острых букв *Bundeslander*.

Проснулся, побрёл на кухню, в темноте наступил в разложенные на газете ягоды, стало липко и противно, выругался, попил из банки, пошёл спать обратно.

Первые утра боролся с отвращением к умыванию, просто открывал кран, сидел на краю ванны и пытался смыть длинный рыжий волос, прилипший к её шершавому сероватому краю, а когда в который раз не получилось, дотронулся — и оказалось, что это не волос, а просто ржавая трещина.

За обедом старался не смотреть, как ест дед, и сам жевал, глядя, как сохнет во дворе бельё, как чернеет дыра в крыше сарая,

и раз, с куском проглотив обидное «аристократ», отвернулся к стене: зарябил узор обоев, и на календаре июль наплыл на август. Дед вышел из-за стола, а внук остался. Лицу было горячо, еда остыла, с ним никто не разговаривал.

Гулять и играть было не с кем вообще.

Полез за книжкой на полку, отодвинул несколько томов — за каким-то морским романом стояла пустая бутылка.

Ту книжку, что привёз из дома, читал во дворе, в плохую погоду в комнате забрался с ногами на стол и читал себе вслух — дед зашёл в комнату, сказал «совсем чокнулся». Читал про деревянных солдат-дуболомов, и после одной главы вдруг стало страшно ходить в сарай кормить кроликов. Там были навалены дрова и доски, и всё казалось, что в пыльном полумраке деревянная поверхность от случайного прикосновения может обернуться лицом — в морщинах, которые повторяют годовые кольца, с пустой глазницей — сплом от сучка, с оскалом или просто кричащим ртом, как будто ему больно оттого, что короед проел навылет занозистую щёку.

По телевизору всё шли куда-то танки, и время от времени он выходил со двора к дороге, чтобы застать тот момент, когда они наконец пройдут по этой улице, и тогда, чтобы не быть таким бесполезным, можно будет вынести тем, кто внутри, воды, или просто посмотреть вслед. Но ничего не происходило, ничего не менялось.

Дед не был героем. Все его медали — за хорошую службу — помещались в мешок. Он не проливал кровь, если не считать порезов во время бритья и сбитых на работе пальцев, да и того раза, когда ещё мальчишкой бежал откуда-то, упал и распорол щёку о кусок стекла, шрам затянулся, с годами вполне бы мог сойти за боевой, но не сходил. Он тоже видел танки только на учениях и выносил армейцам воду в ковшике.

Вонючая фуфайка, слежавшаяся вата, засаленные рукава — на видном месте в коридоре, как шинель. В кармане прячется бутылка водки. Его жена, пришедшая на смену первой, находя бутылку, не говорит ни слова. Она вообще почти не говорит.

...Через неделю в посёлке он окончательно решил с побегом и перенёс на огороды две старые байковые рубашки,

в которых отец обычно рубил дрова или просто переодевался, приезжая из города. На участке построил шалаш, и ему казалось, что в нём можно провести не одну ночь, если тепло одеться. И ещё придётся научиться курить, чтобы согреться, но делать это надо будет тоже в темноте и по ночам, чтобы не выдать себя дымом.

Он был не то чтобы ожесточён, нет, но почему-то вдруг решил вооружиться и выйти на борьбу с лесным зверьём, ночным кошмаром. Мастерил лук, и всё никак не выходило. Раз, наплакавшись на огороде, просто так — из дома не звонили — уснул, проспал атаку и сильно обгорел. Кожа слезала полупрозрачной плёнкой, чешуёй, и он от скуки обдирал её, тянул, где тоньше... И за проспанный бой сам лишил себя ордена из репейника.

...Канава для воды высохла. Он лёг, и она пришлась впору, пересохший окоп, но неподвижно лежать быстро надоедало, он, притаившись, слушал, как шуршит трава, и всё казалось, что в ней кто-то ходит. Он выжидал немного и бросался в атаку с самодельным оружием, заменившим меч и штык, и, сгибая руку в локте, заслонялся так вместо щита, весь бой.

От травы летел пух и прах, и он знал, что пройдёт месяц-два, она начнёт ломаться от его шагов, внутри каждой травинки обнаружится сухая пустота, и это станет лучшим топливом костру — трескучим, колким. Он воевал, пока на огород не наползала тень, и это означало время возвращаться. Он шёл тропинкой медленно, нёс, перекинув через плечо, позеленевшую и мокрую футболку. Она ничего не весила, но он нёс её, как сохранённое знамя, как плащ-палатку, рюкзак и боевой трофей — всё вместе, чуть сутулясь. Лишь раз обронил и заметил пропажу лишь на подходе к дому, пришлось бежать обратно — футболка лежала на тропинке, и тень от ветки шарила по одежде, собравшейся в тёплый комок, как будто проверяя ткань на прочность, изучая состав.

Вернувшись раз с очередной победой, он увидел, как дед идёт двором, расставив руки, растопырив пальцы, будто ловит курицу или собственную тень, вдруг вышедшую из-под контроля и заметавшуюся в веселье, и вдруг поняв, что не выйдет

— и тень, и курица так быстры, что не угнаться, — вздыхает, кажется сразу ниже ростом, опускает руки, прислоняется к стене, белой как свет, и сам вдруг неожиданно белеет, вытирает пот. И подойти бы к нему ближе — давай, вставай, пойдём домой, и до кровати его тогда вели бы десятки медленных мучительных шагов, тяжёлых, пыльных, и слабая, тёплая рука. Но вместо этого, лишь глупо улыбаясь, внук быстро идёт в подъезд и застревает между вторым и первым этажами — стоит лицом к стене, уткнувшись в согнутую руку, и будто отсчитывает до десяти, но на самом деле бормочет себе, расцарапанному локтю, крашеной холодной стене «господи, как же я тебя не люблю, что же мне здесь делать» и не плачет.

В один день пошли за ягодами на бывшее стрельбище к сосновому бору. Вышли рано, шли через огороды и футбольное поле. Трава ещё была сырой, и сандалии и носки промокли. Пока шли, стало жарко, хотелось пить, пришлось — минеральную воду из общей бутылки, и он украдкой, после деда, вытирал горлышко рукавом рубашки.

Был жестокий, до невозможности устоять на одном месте, кусающий отовсюду свет. Ежевика одичала и свернулась мотком проволоки в траве — вот зачем сюда лезть, когда ягоды не созрели? А в бору ржавчина осыпалась сосновыми иголками за просторный воротник. Вот июль-август сперва оцарапал, а отхватил лишнее ножницами, и всё стало неприкрытым, голым, на виду. Ну дай побыть мне одному, дай поискать стреляных гильз — ты говорил, что здесь они есть, я не буду ходить слишком далеко. Он запомнил, где остался дед, а сам пошёл вперёд, не оборачиваясь, съел пару ягод — набил оскомину, подобрал отслоившуюся чешую коры — она крепко пахла смолой и сразу склеила ладони, вышел на песчаную дорожку — кто-то проехал на велосипеде и сделал её слишком длинной страницей плохой шершавой бумаги в линейку. Он присел на корточки, машинально начертил прутом своё имя, имена родителей, назвал и деда, но тут же зачеркнул, почти стёр.

Ему показалось, что он ушёл уже далеко, и скоро за соснами начнётся ровный песок, покажется река или озеро. Он

подался вперёд, продрался через безымянные кусты. Бор был сквозной, и он сразу увидел деда, сидевшего под деревом, он понял, что никуда не ушёл, а ходил всё вокруг да около. Дед не ладил корабль из куска коры, не стругал человечка, как прежде делал отец, а просто сидел и курил. Чужой старик.

В озере вода была холодной, чёрной, густой. Он зашёл по колено и дальше не захотел, сразу озяб, и когда вода от его движений успокоилась, он не сразу узнал в ней свои слишком белые длинные ноги и только чувствовал, как тупо бьются о кожу косяки мальков. На берегу остановилась машина. И вышли из неё несколько молодых людей, и из машины играло радио, и были двое парней и две девушки, и одна сразу побежала к воде, сбросив по пути туфли, и, забежав в воду, собрала в кулак подол юбки, чтобы не замочить, и не завизжала, а вскрикнула, словно обожглась. И ему очень захотелось туда, к ним, одному, без деда.

...Когда он окончательно решил с побегом и потащил в шалаш бутыль с водой — ведь захочется пить, — он обнаружил в шалаше деда. Лежал заломленной обложкой вверх прочитанный до середины Чейз, дед спал на боку, светом была располосована, расчёсана его щека, и тенью стала рука, зажатая между колен. С тех пор он перестал ходить в шалаш.

...С тех пор все танки ушли за горизонт. И возвращаясь туда, где не был так долго, понимаешь, что путь, который занимал тогда, в детстве, казалось, половину дня, на деле оказывается парой часов. Он давно там не был и берёт с собой девушку, которая всю дорогу дремлет на его плече.

В начале ноября темнеет рано. До кухни по тёмному коридору, как в детстве, пробираешься на ощупь. Вот тут обойный стык, здесь провод радио запрятан под бумагу, и новости идут неслышным слабым пульсом. Протрёшь клеёнку, включишь воду, дрогнет свет, и осыпается узор с обоев.

Пошёл рубить дрова, надел стариковскую фуфайку, полез в карман за рукавицами — нашёл полупустую бутылку, допил и не поморщился, нарубил дров, сложил аккуратно. В пыльном полумраке сарая давно сгнила вся армия деревянных солдат и мокро блестела куча угля, и клетка, в которой в то лето жили

кролики, стала просто корявой ржавой коробкой с пустыми бутылками. Он собрал бутылки в мешок, оттащил его к углю, вынес на улицу клетку, приткнул её на пень и долго сидел, курил и кидал в неё всё, что подвернулось под руку — гнилое яблоко, обломок кирпича, случайный камень, — пока из дома не позвали есть. Присев на край ванны, он долго мылил руки и смотрел на них, потом понюхал свитер — тот от дедовой одежды насквозь пропах сыростью и дымом.

Им предложили остаться, постелить на раскладушке, дать одеяло из гуманитарной помощи. Но нет, надо в город, завтра рано вставать, слишком много дел, несмотря на то, что воскресенье.

Не в поле, а сразу, только выйдя за калитку, он обещает себе молчать всю дорогу от посёлка до остановки, но на тропинке у озера, уже недалеко от станции, он произносит «как же холодно», и ему в ответ мокрой растрёпанной веткой в лицо тычется колючая пятерня снежника: мол, что же ты наделал.

Его девушка, виновато улыбаясь, отводит с тропинки следующую ветку, пропускает вперёд, и он слышит, как глухо чиркает по спине озябший, покрасневший прут.

Вот в этом поле он учил меня стрелять из лука. Был жаркий полдень, и всего одна стрела и настоящий крепкий лук, не тот, который я делал всё лето. Дед дал мне выстрелить первым, я потерял стрелу. Она, воткнувшись тупо в землю, притворилась длинной прямой травой с пушистым оперением, стала такой же острой, как осока, такой же режущей ладонь, подушки пальцев, мою руку. ...В то лето каждая живая надломленная ветка пахла, и каждая — белела мягкой ватной сердцевиной, и кора, счищенная, содранная, ссаженная с палки — гибкой, в самый раз для лука, — вилась вокруг руки второй гладкой сероватой кожей.

В маленьком магазине на остановке продавщица отказывается продавать им кофе, и в ожидании рейсового автобуса они полчаса мокнут и мёрзнут. Они видят, как в посёлке зажигают свет, как темно блестят от дождя телеграфные провода в поле, как октябрь-ноябрь сперва застудил, оцарапал, хватил лишнее

ножницами, и теперь всё стало неприкрытым и голым, и видно далеко нахохлившиеся макушки телеграфных мачт под серым небом. В нём чёрный треугольник птиц — всего лишь строчка, неумелый шов.

Все два часа до города они спят. Уже вечером, в баре, после двух стаканов он забывает половину слов, начинает заикаться, и чтобы объяснить, где был, — просто машет рукой. Это далеко, в деревне. Там живёт отец отца. И будто это что-то объясняет: он очень стар, к тому же много пил.

Наутро он несколько минут не может понять, где проснулся. Ему незнакома эта светлая комната, узкий диван, фотография на стене напротив. Он отыскивает в отражении телевизионного экрана своё серое лицо, скомканную одежду на стуле, обессилевшую от ночной схватки, отворачивается к стене, закрывает глаза, вытягивается под одеялом, как много лет назад. Спросонья ему показалось, что снова — утро в том доме, ему постелили на раскладушке отдельно, как и просил, и под одеялом из гуманитарки он проспал все летние ночи, каждый раз пугаясь и просыпаясь от скрипа пружин под движеньем тела. Иногда, очень редко, часа в четыре утра, его донимал утренний холодок, и он боролся с ним, терпел, маялся, а потом всё равно пробирался на кровать к деду. Тот укрывал ему ноги подушкой, становилось теплее, и он уже не сворачивался в клубок, а вытягивался дрожащей струной и словно в оправдание бормотал: «Дед, я так замёрз. Мне холодно».

## Ирина Либерман

### Размышление

**1.**
Носишь тяжёлый молот, что ухает гулко в груди,
мечтаешь о спокойствии, о безмятежности синей...
В старом тебе начинаются все пути,
в старом тебе начинается тот, кто покинет

Всё — и уедет молча у моря бродить, мысли роить,
искать дни — вчерашний и завтрашний.
Волны оближут
непривычные к гальке белые ступни твои,
и горизонт вдруг покажется чётче, яснее и ближе...

**2.**
Жизнь у моря не гарантирует счастье —
так говорят в городах приморских,
на кухнях почти в каждом доме...
Точно так же живущим у моря
хочется чёрною точкою сжаться,
упасть, отлежаться в песке или в чернозёме —

И уже ростком не взойти,
ведь и семенам иногда
время погибнуть в земле плодородной приходит.
Даже верно идущим по курсу судам
порой надо сбиваться с пути,
покидая на свой риск и страх нейтральные воды.

Даже те, кто живёт у моря, уходят в леса,
чтобы больше не слышать прибой,
что бьётся внутри, сердца стук заглушая.
Даже те, что в жизнь влюблены,

иногда умирают хотя бы на полчаса...
А рассветный туман глотает летящие стаи...
Даже те, кто живёт у моря, бегут от него порой,
но море у них внутри, от него никуда не скрыться...
Бьёт в груди вместо сердца волнами холодный прибой,
бьют в висков скорлупу изнутри белоснежные птицы...

## Раннее утро в городе

Я сидела в кафе на набережной ранним утром;
дул холодный ветер, срывая шапки с прохожих.
Мне хотелось с ним слиться — с ветром вечным и мудрым...
Я сидела в кафе у реки и запах пирожных

делал воздух тяжёлым и приторным. В стёклах оконных
отражался зал и тонул в огнях пробуждавшихся улиц.
Город, словно цунами глотал мой маленький остров —
золотое пятно... И минуты неспешно тянулись,

Обходили свой круг, угасали с последним ударом.
Темнота, как змея, отползала... А там, на востоке,
из последнего облака белым холодным шаром
покатилось слепое солнце прохожим под ноги.

## Морское

Море шумит и глотает
Белый зефир вдали —
Облака ли там? Корабли?
Дымка утра — как пар над чаем...
И в лазурной глазури
отчётливо виден
То ли моря край, то ли земли...
...к розовому завитку ушной раковины
поднеси
завиток розовый раковины морской —
в ней жил когда-то рак-отшельник —
один.
Он в ней жил, как живём мы с тобой...
Только он и спиралью закрученый дом —
Так лежали на дне вдвоём.

Он слушал, как море глотает
Белый зефир вдали...
Спят на дне — приют юрких рыб —
Невернувшиеся корабли...
Сколько синюю гладь ни моли —
Не прийти никогда им домой,
Не зайти никогда им в порт...
За приливом — снова отлив...

Облака ли то? Корабли?
А в спирали розовой слышен гулко
То ли моря прибой, то ли...

Тарас Фисанович

## Пути, которые мы выбираем

Вечный зов путешествий,
Клич бунтующей крови:
До свидания, тёщи,
До свиданья, свекрови!

Солнце дальних Бразилий,
Австралийское солнце.
Унесут меня крылья
К Фудзияме японцев.

Добрый день, крокодилы,
Львы, бизоны, тарпаны!
Я люблю вас, гориллы,
Принимайте в тарзаны!

Горстью сыплю динары,
Собираю кокосы.
Истанбула базары.
Дели. Галапагосы.

В океанах купаюсь,
Проберусь в пирамиды...
Под рассвет просыпаюсь
С чувством личной обиды:

Снова день заполошный,
Шум трамваев, пельмени...
Карту в час полуночный
Положу на колени:

Слышу рёв Ниагары,
Вновь бреду по пустыне.
К чёрту Карловы Вары —
Ждут меня в Аргентине!

## Ночной Гамбург

Наплывает тишина.
Неприкаянным поэтам
Навевая первый сон,
Безразличная луна
Томным желтоватым светом
Заливает небосклон.

Воздух холоден и чист.
Лишь в безлюдье городском,
По ночам тревожно-гулком,
Иногда мотоциклист
В упоении шальном
Прогрохочет переулком.

Стал дремотным свет реклам.
Спят автобусы пустые.
Успокоился *U-Bahn*.
И по сонным площадям
Монументы, днём немые,
Шепчут тайны роковые,
Неповеданные нам.

Пруд слепит луны сияньем.
Возле парковой ограды
Шаловливые дриады
Репетируют балет,
А в просторы мирозданья
Из заросшей балюстрады
Льётся соловьёв дуэт.

* * *

Запрягите в сани лошадь.
Пусть дорога встречь бежит,
Грива на ветру полощет
И снежит, снежит, снежит.

Пусть дорога убегает
От жилья и от огня
И в морозной дымке тает
Угасающего дня.

Снег, луна, леса России.
Тени мчатся чередой
Будто лешии лесные,
Манят тайной и тоской.

Кони, сани, путь далече —
Древний способ ворожбы.
Так в России горе лечат,
Убегая от судьбы.

* * *

Бессонница, ах так её растак!
— Вгрызаясь в тьму усталыми глазами,
О чём ты так задумался, чудак,
Вертясь волчком бессонными ночами?

— О днях, конечно, прошлых, старичок!
В уме перебирая дни за днями,
В подушку вжав скулящее плечо,
Я в мыслях ожидаю встреч с друзьями.

Часы без сна, как на плацу труба,
Поют нам сбор, чтоб подводить итоги.
И стоит памяти немалого труда,
Чтобы друзья не путали дороги.

Собравшись, мы выравниваем строй
И, сосчитав, кого прислали боги,
Садимся, подпирая лоб рукой,
За общий стол — пусть отдыхают ноги.

Пришедшие — кто лысый, а кто сед,
Ну, право ж, нас совсем не красят годы.
Нам в жизни выпадало много бед,
Но мы друг другу сочиняем оды:

Мол, молодец, что дожил до седин,
Что одолел измены и заботы,
Сберёг семью, здоровы дочь и сын,
Хоть стар, а не чураешься работы.

Мы выпиваем горькое вино,
Обмениваясь бодрыми словами,
И сетуем — не виделись давно,
А кое-кто совсем простился с нами.

Отдельный тост за тех, кто не пришёл,
И за любимых, с кем давно расстались,
А память вытворяет произвол,
Нам возвращая, что забыть пытались.

И лишь под утро, в предрассветный час
Мелеют всё ж воспоминаний реки.
Прощусь с друзьями и на этот раз:
— До новых встреч, друзья, а то — навеки.

Ксения Лапина

# Интервью

Мне снится, что наступил конец света. Я иду с работы и вижу в подъезде кенгуру. У почтовых ящиков сидит зверюга, на меня смотрит, не щурится. Я беру его с собой, сажаю в ванную и мо́ю. Шампунем. Вдруг, откуда ни возьмись, в ванную входит мама и начинает меня ругать: «Что же ты, дурень, делаешь? Ты же защитный слой его этой химией смываешь!»

«И правда, — подумала я, проснувшись, — что же я натворила?»

Мне снится, что я иду с коллегами на рождественский рынок. Вообще-то я идти не хочу, но поддаюсь на уговоры. Холод цапает за коленки, поэтому я заказываю пунш с ромом. Весёлый парень в меховой жилетке, продававший пунш, подмигивает мне приятельски и забабахивает мне в чашку треть бутылки. Вдруг я чувствую беспокойство, гул толпы, вскрики, поднимаю голову и вижу грузовик, который несётся на меня, на лобовом стекле его ёлка, люди справа и слева кидаются от него. А он летит прямо на меня. В последние секунды вспыхивает отчётливая мысль: давай рывок вправо, но я стою окаменевшая, не могу взгляд оторвать от пустой кабины. Я пытаюсь крикнуть, но изо рта вместо звука выходит бесслышно огромный мыльный пузырь, в котором отражаются искажённые лица людей и моё — белое, белее мела. В этот момент я просыпаюсь.

Мне снится, что я бегу. Я бегу, потому что меня хочет поглотить земля. Меня и младенца, которого я прижимаю к груди. Я слышу за собой грохот, передо мной тишина. Я бегу, задыхаясь. Лёгкие режет от холодного воздуха, платье путается в ногах. Передо мной открывается что-то огромное, спокойное, солнцеотражающее. Море. У берега держится лодчонка. Я вбегаю в воду, кладу младенца в лодку, толкаю её и пытаюсь запрыгнуть на ходу. Моё платье становится тяжёлым, оно тянет меня вниз. Я не хочу. Я цепляюсь отчаянно за борт, пока мои пальцы

не сдаются. Выпрямляются сами по себе, как крестьяне после рабочего дня на поле. Сначала левая рука, потом правая. Меня тянет вниз, вода окутывает меня, давит. Я провожаю дно лодки глазами. Кажется, всё. Тут я просыпаюсь.

Будильник звенит в половину шестого. Я не ранняя пташка и не ожидаю, что бог подаст. Просто делаю кофе и плетусь одеваться. В электричке царит гробовая тишина. Полумёртвые от накопленной усталости едут люди на работу. Все без исключения уткнули носы в светящиеся прямоугольники мобильных телефонов. Но не я. Я уронила на прошлой неделе телефон на брусчатку, разбив этим окно в мир. Ничего другого мне не остаётся, как оказаться в плену своих мыслей. Для этого у меня целых пятьдесят минут. И только одна пересадка.

Нельзя сказать, что работа мне нравится... Она мне очень не нравится, честно говоря. Можно даже сказать, что я её ненавижу. Поначалу я подумала, а почему бы нет, известное учреждение, платит неплохо, работа по специальности. На самом деле, других вариантов у меня не было, хоть и отучилась я на управленца и сотни практик прошла. Ещё мне почему-то показалось, что это мой долг гражданский, свою лепту внести. Ясность ожидающим дать. Помочь. Рассмотреть их дела. Отпустить или оставить.

Но теперь я окончательно освобождена от иллюзий. Я просто-напросто колёсико в огромной скрипящей машине, которая целеустремлённо везёт груз свой в никуда.

Иногда я не могу спать, так как меня преследует мысль, что я сыграла ключевую роль в судьбе какого-то человека. Это ужасно тяжело и тяжесть эту не с кем разделить.

Все кричат: «Европа-Европа!», а Европы не существует. Европа — это искусственный островок, как эмиратский «мир», насыпанный в Персидский залив. В Европе всё ещё воссоздают Утопию, в то время когда весь мир, настоящий, полыхает огнём. И все хотят на этот утопический остров. Все рассказывают и показывают, что́ с ними несправедливость сотворила. Объясняют, почему именно они имеют право на Утопию. И никто не понимает, как тяжело быть вершительницей судеб.

Я работать туда пошла совсем по другим причинам, чем Нина. Нина работает в министерстве не так давно и страдает от болезненной добросовестности. Она наверняка крокодиловыми слезами плачет, когда высылает людей из Германии. Вообще-то Нину я знаю плохо. Называю её только «фрау», по фамилии, на «Вы», и только с большой буквы. Мы работаем вместе, но она шеф происходящего, а я всего лишь переводчик. А возраста мы одного примерно и, очевидно, одеваемся обе в *COS*. И всё. Ну и на работу мы приезжаем в одно время, в семь двадцать девять утра.

Я спала сегодня плохо. Елозила в огромной кровати, долго не могла заснуть. Он караулил меня у дома. Через год после разрыва помолвки он нашёл меня в Берлине. Припёрся не для того, чтобы уговорить меня вернуться, а чтобы потребовать деньги, которые я у него заняла. «Мариам, — сказал он, прекрасно зная, что я ненавижу, когда меня так называют. — Мариам, я даю тебе ещё один месяц, чтобы вернуть мои пять тысяч». Я не спросила, что будет, если я не верну деньги. Я знаю, что я вернуть их не могу. Поэтому без «если». У родителей просить деньги бесполезно и позорно. Они не поняли моего стремления к свободе. Они с самого начала были влюблены в наш предстоящий союз. Им так хотелось прекрасного иранского зятя. А мне стало душно от всего. Я поняла, что все двадцать семь лет своей жизни я жила для них. Для них училась в университете, для них работала техническим переводчиком, для них помолвилась с Даниэлем. С успешным Даниэлем. Примерная я! Хорошая я! Достигла того, что они не смогли достигнуть в Иране! Ведь всё, что они делали, они делали ради меня! Прекрасная дочь и престижная невеста на выданье! Выгляжу эффектно! Как Шер после операций, но молодая и неоперированная. Готовлю — пальчики оближешь! Единственно — не умею обращаться с деньгами. Так считали мои родители, и Даниэль тоже. Я считаю, что я прекрасно обращаюсь с деньгами, обменивая их на предметы роскоши и другие излишки стран первого мира. Но он так не думал и поэтому был от моих долгов не в восторге. Деньги, а у него их куры не клевали, он мне дал только в долг.

На работу я прихожу в семь часов двадцать девять минут. До меня отмечается в списках Мэри. Мэри — эффектная

девушка, за которой наверняка приударяют сразу несколько коллег. Но она милая, а главное — переводчик хороший. За ней можно сразу записывать, потому что по-немецки она говорит гладко и правильно. А ещё она подсказывает, где ставить запятые. Корректно ведёт себя Мэри всегда. Но у неё ситуация другая, она фрилансер и сама себе начальник.

У меня есть начальство, но выше него — статистика. Статистикой интересуются правительство и пресса. Пресса любит обвинять, а что делает правительство, я не знаю. Ну, вряд ли начальству пряники раздаёт. В общем, начальство часто попадает под обстрел и начинает давить на колёсики. Мы скрипим, гнёмся, но крутимся. Сначала я думала, что мне будет тяжело слышать о страданиях человеческих. Но оказалось, что со временем пройдёт:

*Вопрос: Как были убиты ваши родители?*

*Ответ: Отца застрелили, а матушку — лопатой.*

Ну и дальше по протоколу. Но остров переполнен. Нужно как-то решать, куда девать просящих. Поэтому работать надо ещё лучше. Быстрее. Эффективнее. Человека уважать, закон соблюдать.

А день немыслим без кофе. Кофе перед работой, потом таблетки от боли головной, потом снова кофе. В перерыве сигаретка с кофе, и к концу дня — эспрессо.

Как переводчик я нейтральна, но как человека меня раздражает, когда люди мне лгут. Как носитель языка я лучше чувствую нюансы, трудности в выборе слов, неуместные выражения. Трудно передать на немецком эти тонкости нашей речи. К тому же я сижу ближе к «истцу». Я смотрю ему прямо в лицо и замечаю, когда он или она избегает смотреть на меня или наоборот упрямо пялится в ответ. Я вижу, когда ладонь сжата до боли в кулак, а нога нервно трясётся. Меня просто поражает, как можно врать человеку в лицо. Хотя я не осуждаю. Кто знает, может и мои родители тогда, тридцать лет назад, где-нибудь приврали, что-либо приукрасили, чтобы получить местечко в земном раю. Отчаяние в безысходной ситуации мне знакомо.

Знакомый моих иранских знакомых из Берлина, предприимчивый дядя из Афганистана, узнав, где я работаю, стал

донимать меня звонками и предложениями встретиться. «Очень сыну дочери брата отца (двоюродному племяннику) нужна помощь», — сказал он, когда я не очень вежливо спросила, чего он добивается от девушки, годящейся ему в дочери. Пришлось встретиться с ним в кафешке в Новом Кёльне. Оказалось, что двоюродному племяннику предстоит интервью, а остаться в Германии ему нужно позарез. «Даже если бы я хотела, — попыталась отмахнуться я, — помочь вам я не могу. Идите к адвокату». Но он стал настаивать, обещать компенсацию за помощь. Работа мне, конечно, важнее, но я поинтересовалась, какую компенсацию. «А за какую поможете?» — хитро спросил дядюшка. Смешной народ. Тут я ему объяснила, что я хоть и не сильно в законах разбираюсь, но ровно настолько, чтобы знать, что за «компенсацию» я не только работу потеряю, но и в тюрьму попаду. «Помогите, — продолжал канючить дядька. — У мальчика в Афганистане никого нет. Родителей убил Талибан. Адвокат до сих пор никак не помог. Только деньги из нас сосёт». Я пожалела в пятый раз, что согласилась на эту встречу.

Если мы правильно понимаем, то неправду говорить нельзя. А половину правды? Ну, если приукрасить тут-там, немного интереснее рассказать. В общежитии для беженцев, хайме, мы пошли к рыжей Элеоноре, которую народ наш Эланорой зовёт, чтобы узнать, что у нас будут спрашивать. Она сказала, будут спрашивать о том, кто мы, откуда мы и почему хотим остаться в Германии. А что на эти вопросы отвечать, она не подсказала. Говори правду. Какую правду? Что у нас война? Нет, официально у вас войны нет. Что у нас опасно? Да, у вас, конечно, опасно, ну и у нас в Берлине опасно тоже. Терроризм, война дилеров, поджоги бездомных. Что у нас, женщин, прав нет, и с нами там как с животными обращаются? Ну, по конституции права у ваших женщин есть. И не с каждой плохо обращаются, насилуют там или старикам-мужьям продают, носы отрезают или камнями забивают. Вот с тобой что произошло? С нами-то ничего не произошло. Это плохо. То есть это хорошо, конечно, но плохо для того, чтобы в Германии остаться. Ну, про плохое расскажи. А что нам рассказывать? Рассказывать, как мы с

сёстрами дрались и как мама нас за это тем, что под руку попадёт, наказывала? Больше всего Нафизе, как старшей, доставалось, а не нам, младшей. Я когда «мы» говорю, себя имею в виду, а не нас с мамой, с которой я до Германии добралась. В нашей культуре «я» — действительно последняя буква в алфавите, поэтому даже о себе надо говорить «мы». Мама сейчас другая стала. Она всегда грустная, плачет иногда и кричит во сне. Она очень изменилась после того, что́ мы пережили в пути. То, что в пути произошло, властям не интересно. Только из-за этого в Германии не оставляют. А мама по-другому думает. Она каждый день рассказывает про мальчика, которого смыло волной. Она думает, что она про всё это расскажет, и нас из жалости домой не отправят. Но на этой неделе она совсем не в себе, из комнатушки не выходит, мочится в ведро и просит меня его в туалет выносить. В кухню она не выходит и меня не пускает. Говорит, что мужчин в хайме боится. А что их бояться? Я их не боюсь. Арабы по большей части совсем дети. Глупые, грязные дети без присмотра родителей. Они правда на меня внимания вообще не обращают. Некрасивая я. Темноликая, прыщавая, нос большой. Я и рада, что некрасива. Не то выдал бы меня папа в пятнадцать лет замуж. А меня в этом возрасте никто и не хотел, даже родственники не хотели. Папа с мамой на красивых дочерях сосредоточились, а когда всех выдали, уже поздно стало, осознали, что не доглядели. Я всё это время в школу ходила, отрастила злокозненный язык и закалилась в междоусобицах с сёстрами. Да и дедушка, который учителем работал, вмешался. Пусть в школу ходит, может, выучится, обществу полезна будет. Дедушка мечтал, что я стану учительницей, как он мечтал, что ею станет мама. Но мама влюбилась в смазливого, но полуграмотного соседского мальчишку, увидев его лишь краем глаза во время сватания, и выскочила замуж в шестнадцать лет. Папа, бывший смазливый мальчишка, не считал, что шестнадцать лет — это ранний возраст, поэтому он сестёр моих распределил быстро. Но их согласия, слава Аллаху, спросил. Так мы и остались в доме втроём: папа, мама и я. Никого особо не интересовало, что я в школу хожу. И не одна я такая была. Мы с подружками стаями в школу ходили, всегда себя примерно вели, покрывались усердно и глаз

без причин особых не поднимали. Может, поэтому нам никто вреда не причинил. А может, просто повезло нам. Я когда двенадцатый класс заканчивала, начала собирать бумаги, чтобы пойти на учительницу. А тут папу отвезли в больницу с сердцем, сделали ему операцию — и он умер. Пока дед с мамой думали, что с папиной мастерской делать, появился откуда ни возьмись мой дальний родственник — четвероюродный брат по отцовской линии, — который послал к нам своих родителей сделать мне предложение. Ни за что, сказала я. Если вы согласитесь, я бензином обольюсь и себя подожгу, закричала я. Каждый день слышишь про ужасные вещи, которые случаются в нашей стране с женщинами. Но когда я узнала о том, что́ случилось с бедной Фархундой, я поняла, что у меня будущего нет, и стала упрашивать маму продать мастерскую, чтобы уехать в Европу. Дедушка неожиданно поддержал меня. Наверное, чувствовал, что ему недолго осталось и что после смерти его мы обе без него пропадём. Мастерскую, кстати, купил у нас троюродный кузен. В Греции мы узнали по телефону от соседки, что дедушка умер во сне. Мама стала завывать, а я подумала, что умереть во сне — не самое ужасное. И я вспомнила, что он со мной прощался, как будто знал, что виделись мы в последний раз.

И всё? И всё. И никаких преследований, изнасилований, талибов, моджахедов, мужей-насильников? Нет. Хм, сказала Эланора.

Вот и остановка. Я выхожу на огромную площадь, окружённую гладкими дорогами, по которым несутся машины. Показываю одной женщине листок с адресом. Она машет в сторону квадратного белого здания, которое прячется в стороне от площади. Мужчины в чёрном — секьюрити, как в хайме — отправляют меня в переполненный зал, где ждут многие, как я, своего судьбоносного часа. Никто не здоровается. Разговаривают полушёпотом. Все думают о своём. Я заново рассматриваю свои спортивные туфли из магазина «Дайхманн». Вдруг женский голос вызывает мое имя: «Нарима Сафари». Я торопливо иду на голос и вижу двух ещё молодых женщин. Одна из них иранка, весёлая, красивая, как поп-звезда, и непокрытая. Вторая, наверное, немка — со светлыми волосами, улыбается устало и что-то спрашивает у меня по-немецки, чего я не понимаю. Вторая переводит мне на персидский, но я её не слышу. Я перевожу взгляд с тёмных томных глаз на прозрачные, пытливые. Друзья или враги?

Андрей Зятковский

# Пыль земли

Это была последняя весна в Берлине. Подснежники удивляли и радовали домашних собак на прогулке, парочки обнимались на ещё не взорванных мостах, а инвесторы совершали последние сделки по недвижимости. Всё имело своё место и последовательность. Неприятности и беды предвещали, при правильной интерпретации, только толкователи сновидений. В ту весну не кто иной, как дизайнеры из ведущих домов моды, таких как *Vetements* или *Comme des Garçons*, стали вестниками апокалипсиса, введя в моду одежду из фильмов восьмидесятых о послецивилизационном мире. На неделях моды по всему миру ходили бесчисленные двойники Мэла Гибсона в оригинальных костюмах из «Безумного Макса». Их аутентичность растворяли андрогенные манекенщики в похожей одежде, но из шёлка. Успешные кооперации с *H&M* и *Primark* безвозвратно внедрили пророческую моду во все социальные и возрастные категории. Если в 2010-х по городу ходили шутки, что берлинского хипстера не всегда можно отличить от бездомного, то начиная с той весны следующих новой моде не всегда пускали в театры и библиотеки. Их часто путали с городскими сумасшедшими, а те, в силу своей проницательности и тонкого чувства мельчайших вибраций поверхности солнца, верно предостерегали нас о нехватке истории на всех. Наше поколение должно было стать последней слезой летописи, наскоком пропав навсегда.

Максимилиан не был самым авангардно настроенным из своих сверстников. Мода задевала его краями на рекламных плакатах и в образах милых девушек, фланирующих по уместным и согласованным улицам его родного города. Его личным лакмусом моды стали цыгане, просившие милостыню в метро. Увидев, что и среди них новый тренд стал консенсуальной нормой, Максимилиан понял — пора. Он разбил свою копилку,

в которой цент падал к центу на случай встречи с женщиной. Максимилиан отправился в магазин. От будущей актуальности своего внешнего вида он покраснел ещё перед выходом, а когда уже добрался до дверей огромного, вавилоноподобного *Primark* на Александрплац, лицо его горело фосфором.

Максимилиан глубоко вздохнул и шагнул через порог магазина в мир актуального и доступного. На вешалках висели мало чем друг от друга отличающиеся наряды в категориях, понятных только креационистам и людям с метафизической точкой зрения. Среди магазинного контингента не было самого важного, соответствующего цели визита Максимилиана фасона: для авантюрного свидания с женщиной. Ему пришлось действовать дедуктивно и обратиться к анналам жанра: первому тематическому показу мод от *Vetements*. Пятиминутное видео легендарной презентации этой коллекции он просмотрел без звука между рядами с зимними куртками. Весной до них никому не было дела, и Максимилиан мог сконцентрироваться на главном. Найдя в итоге максимально подходящую вещь, он тут же пошёл на кассу и встал в долгую очередь. Когда очередь дошла до него, он, не смотря в глаза кассиру, заплатил за своевременность своего внешнего вида, и вышел на улицу. Перед ним открывался вид на Александрплац, предстающей во всей своей банальности и непосредственности. Он посмотрел на солнце, посмотрел на людей и отправился к самому громкому уличному музыканту, игравшему на канализационных трубах и пластиковых вёдрах. Солнце било по вёдрам из-под белой краски и отражалось рельефными обоями, то как частица, то как волна, слепя Максимилиана, предчувствующего острую нужду познакомиться с женским телом, пока не поздно.

Разбивая копилку, он опережал события, точнее, подходил к ним с другого конца, меняя причину на следствие, разбивая их буржуазную последовательность. В его логике чувствовался протестантизм, согласно которому, если сильно постараться и изрядно потрудиться, обязательно попадёшь в раеподобные состояния. Убеждение было и в том, что из подражания формы выйдет и соответствие содержанию. Таким образом, первый шаг сделан, костюм среднестатистического тинейджера куплен, и Максимилиан приготовился совершить прыжок к своим намерениям.

Следуя моде, в мире начали происходить апокалиптические изменения на уровне желудочно-кишечного тракта. Доныне невиданные бактерии распространялись хаотичным образом. Заразившись вирусом, человек становился в разы сильнее себя здорового. Равным образом увеличивалась и потенция. Личная сексуальность становилась главной причиной всех действий. Так, за пределами Берлина стали массово распространяться акты сексуального насилия как над женщинами, так и над мужчинами. Больные женского пола остро чувствовали гендерное неравенство. Чтобы изнасиловать мужчину, им приходилось прибегать к нетривиальным уловкам порноиндустрии. Пойманной жертве кололи соответствующие растворы во втянутые и сморщенные от страха члены. Использовалась и виагра, которую то орально, то внутривенно вводили в тела пострадальцев. Процесс мужского изнасилования, одно- или разнополого, не требовал инновации и не отличался от изнасилований, сопровождавших женский род с начала истории и до её скорого конца.

Что касается Берлина, то десятилетия, проведённые в дискуссиях о феминизме, экологии и других важных вещах, впечатались в геном города так, что больные гармонично находили друг друга в бесчисленных секс-клубах и даркрумах[1] города. В берлинской инфраструктуре мест для сексуального разврата хватало с достатком на первом этапе размножения вируса. Но и либеральные берлинцы были готовы не ко всему. Одновременно со взрослыми вирус распространился и среди детей. Ещё не познавшая свою сексуальность ребятня сходила с ума, не зная, как удовлетворить желания неизвестного рода. Работа воспитателей или учителей младших классов с первых же недель популяризации вируса стала психически нестерпимой. Вид насилующих друг друга детишек представлялся куда хуже апокалипсиса.

После нимфоманической стадии, которая длилась не больше десяти дней, наступала апокалиптическая фаза, в которой заражённые пытались как можно ярче убить себя и как

[1] От англ. *darkroom* (тёмная комната) — слабо освещённое помещение для анонимных сексуальных контактов.

можно больше незаражённых жизней. В апокалиптическом акте каждый проявлял себя как мог, в соответствии со своим характером, талантом и возможностями. Химики, к примеру, пытались отравить воду или выпускали облака ядовитых газов. Водители автобусов въезжали в толпы марширующих граждан, выступавших против вируса и бездействия властей. Ввиду статистической независимости, вирус расходился без ведомых правил, и всадником апокалипсиса мог стать, без преувеличения, каждый: и полицейский, и мэр города, и сосед, никаких мер по прекращению эпидемии правительство не могло ввести. Креативность, с которой раньше создавались новые стихи или заводы, работала теперь полным напором и без остатка на смерть.

Вычислить последовательность распространения пытались самые лобастые мужи в самых именитых институтах нашей планеты. Были основаны новые исследовательские организации, комитеты спасения человечества и программы по международному обмену учёных. На конференциях в странах, приведших нас своими инновациями в мир комфорта, благополучия и долговечия, не приходили ни к каким результатам. Участники конференций вкусно ели и долго спорили, но никаких прорывов не наблюдалось. Предвосхищая конец, каждый из них забывал о своём семейном или гендерном долге и пускался в ещё не отравленный вирусом разврат. Спустя несколько месяцев, уже на заре нашей цивилизации, учёные на смертном одре признавались друг другу, что всё-таки Эйнштейн не прав, Бог таки кидает кости.

В это неспокойное для планеты время задача, которую поставил перед собой Максимилиан, в любое другое время имевшая право на существование, казалась ему анахронической причудой его ещё не полностью осознавшего происходящее разума. Мир как никогда переполнился сексом, а он оставался девственником в искусственно порванной одежде, одинаково близок и далёк от своей высшей цели. Поскольку ни причины, ни пути заражения вирусом наука не могла прояснить, а слухи и суеверия в такое густое время распространялись мгновенно и навсегда, в сознании людей быстро укоренился предрассудок, что вирус передаётся и размножается во время секса. Боясь за

свою экзистенцию, Адамы и Евы подлунной земли перестали интересоваться половой жизнью.

Всё это играло беспримерно не на руку Максимилиану. Ему виделись две возможности своего исхода: он сразу умирает от совершенно средней талантности больного апокалиптического акта, или его первоначально немилосердно изнасилуют, когда берлинской толерантности уже не будет хватать на заражённые массы, а потом он, травмированный душой и телом, умрёт от апокалиптического акта. Скорая смерть была неизбежна, и он её никак не боялся. Из всех страхов остались только ужас умереть девственником и боязнь быть изнасилованным.

Вирус разрушил все социальные институты: брак, семья, дружба не выдерживали сексуального насилия. Не стала исключением и семья Максимилиана. Его родители в один из дней заболели разом. На первых порах болезни казалось, что их давно остывший брак вновь загорелся напалмом страсти. Через день друг друга им стало не хватать, и они переключились на детей. Отец пытался изнасиловать свою двенадцатилетнюю дочку, любимую сестру Максимилиана, в ответ на что его пришлось бить стулом и отбиваться гантелей от мамы. Ему с сестрой Фионой пришлось бежать. Дачный домик на окраине Берлина оставался их единственной надеждой. Он должен был стать их приютом, хотя бы на первое время. Но покоя на даче хватило ненадолго. Фиона, не став исключением, поймала вирус, который тут же начал себя проявлять. С каждым часом болезнь поглощала ребёнка и превращала её в серьезную опасность для Максимилиана. Ему пришлось покинуть сестру. Дачная колония граничила с лесом, в котором Максимилиан, вооружившись огромным гаечным ключом, собирался скрыться.

Чем глубже в лес, тем меньше людей, тем лучше. Максимилиан топтал лесную землю, шёл просто вперёд и сжигал в памяти каждый свой пройденный шаг. Его город тоже догорал, превращаясь в зону невозврата. Уже начинало темнеть, когда он увидел одинокий дом на опушке леса. Последние лучи солнца отражались в панелях солнечного питания, маяком приманивая Максимилиана к себе. Ещё немножко удачи, и дом окажется пустым и покинутым, станет убежищем на эту ночь. Думать дальше,

чем на один день, так же как и думать о дне прошедшем, не имело большого смысла. Максимилиан жил буддийским «сейчас» с яркой, сияющей целью потерять девственность и умереть.

Ему повезло. Дом оказался пустым, но не заброшенным и не разворованным. Все окна целы. Дом хранил спокойствие. Максимилиан разбил маленькое заднее окно декоративным камнем и залез внутрь. Внешняя безмятежность полностью соответствовала внутреннему покою этого лесного строения. Единственным беспорядком в доме стал сам Максимилиан. Пыльными ногами он истоптал сначала кухню, а потом и остальные комнаты. По всей видимости, хозяева были либо уже мертвы, раз не пользовались таким отличным убежищем, либо бежали в другие места. Максимилиан подумал, что наверняка владельцы этого домика обладали ещё одним, таким же одиноким и спокойным курортным домом на Балтийском море.

Обыскав весь дом, Максимилиан нашёл много консервов в подвале и на кухне. Бутылки с минеральной водой стояли в коридоре, а у камина он даже нашёл коробку конфет. Свет тоже можно включить, но Максимилиан не стал этого делать. Лес погрузился в абсолютную темноту, незачем нарушать световое молчание и привлекать к себе других блуждающих. В доме обнаружился гараж без окон. В нём можно было расслабиться под электрической лампой. Максимилиан стащил в него матрас и одеяло из детской комнаты.

Гараж стоял практически пустым и походил больше на бомбоубежище. По периметру располагались стеллажи с аккуратно уложенными вещами разной степени необходимости. Лампа освещала только центр помещения, и толком разглядеть, что конкретно там лежало, представлялось сложным. Зато нашлась работающая розетка, что позволило зарядить телефон. Пользы от него мало, но по крайней мере он годился для определения на карте своего местоположения, хотя от этого пользы тоже мало. Географические, так же как и временные координаты стали в этом мире не релевантными. Максимилиан открыл банку с равиоли. Голод превратился в одну из немногих констант его последних дней, утолить его означало отвоевать у тела кусочек суверенности. Холодные равиоли глотались быстро и победоносно, принося с собой усталость и тяжесть в желудке.

Завибрировал телефон. Зарядившись до необходимого минимума, он включился. Максимилиан открыл приложение с картой. Оказалось, он ушёл не так и далеко. Тридцать километров от дачи, где он оставил Фиону. Привязанная к дереву, она наверняка жутко страдала, но Максимилиан не испытывал жалости. Он был пронизан нигилизмом и свёл себя до одной функции: дожить до первого секса.

Этот дом продолжал быть его большой удачей, от него шли радиоволны интернета. В одной из комнат на роутере горел диод, он пускал, не ограничивая себя паролем, в сеть, — магия! Из всех установленных приложений здесь работало только одно — *tinder*. Сплошная ирония. Даже в лучшие времена *tinder* оставался насмешкой над травматизированным своей девственностью Максимилианом. Он не знал, как заводить беседы в *tinder*, как быть смешным и привлекательным. Отсутствие обязательных качеств для свиданий были так же реальны онлайн, как и оффлайн. Приложение работало, но никого не предлагало. Даже одинокие деревья не хотели вступить с ним в цифровую интеракцию. Максимилиан увеличил радиус поиска до десяти километров. На экране появилась девушка. Брюнетка с большим лбом и острым носом. Исходя из профайла, её звали Адель, ей восемнадцать лет. У Максимилиана не хватало сил радоваться найденной анкете для знакомств. Даже рассмотрение фотографий и подписей под ними, на что в прежнее время у него уходили целые вечера, было невмоготу. Беглого созерцания её профайла хватило, чтобы увидеть в пикселях глаз Адель то же желание, изменённое сквозь призму гендерной разницы, что и у него. Адель хотела познать любовь перед концом.

Вот и начинал исполняться последний апокалиптический нарратив. На всей планете осталось только два человека, в руках которых сконцентрировалась возможность начать цивилизацию заново или поставить последнюю точку, подведя итог всех событий. Дело было ясным. Большой палец Максимилиана отправил Адель в одобрительную правую сторону. Оставалось ждать ответа.

Этой ночью он спал глубоко и спокойно, практически не двигаясь, найдя душевное и телесное равновесие на детском

матрасе. Ему снилось свидание с Адель. Они сидели в ресторане на самом верху берлинской телебашни и крутились с большой скоростью вокруг её оси. Вино в бокалах и возлюбленные сами находились под воздействием центрифугальных сил. Соус, капнутый на краю тарелки, распространялся сам по макаронам. Максимилиан сидел в папином костюме. Адель была одета в костюм его мамы. Мама ходила раньше в нём на деловые совещания, возвращалась домой усталая и с головной болью. Когда оба родителя возвращались с работы в деловых нарядах, неизбежно начиналась ссора, не заканчивающаяся до тех пор, пока они не переодевались в свою домашнюю одежду и занимали прежние роли: отца, матери, мужа и жены. Супруги отказывались от всякой гражданской позиции во благо семьи. Ресторан крутился со всё большей скоростью. Остатки еды уже улетели к панорамным окнам, и все приборы со стола начали падать на пол. Максимилиан хотел допить вино, но это было уже невозможно. Силой оборота вино плотно держалось на донышке, когда он подносил бокал к губам. Ресторан разгонялся и вертелся со всё большей скоростью. Столы, стулья и официанты выходили на орбиту, становясь кто спутником, а кто космическим мусором. Чувствуя, что их начало уносить, Максимилиан взял Адель за руку и, оттолкнувшись от пола, полетел с ней в обнимку из ресторана. Разбив своей спиной окно, он проснулся.

Первым делом Максимилиан потянулся за телефоном. Стартовый экран завалило сообщениями. Адель успела написать с десяток коротких писем. Предложения составлены коротко и восторженно. Каждую мысль она подкрепила смайликами, львиную долю которых составляли зелёные сердечки. Она спрашивала, как дела, и что он тут делает, и действительно ли он тут рядом. Адель предложила сегодня же встретиться. Она уверяла, что ещё не заразилась вирусом. Максимилиан ответил тремя сообщения: «привет!», «Где встретимся?» и «;)». Адель была оффлайн, но, не ожидая ответа, Максимилиан начал складывать свой рюкзак. Он положил несколько консервных банок, свой гаечный ключ, тёплый свитер и подарок для Адель: плюшевого мишку из детской комнаты. Их встреча — романтическое рандеву на обочине истории. Лежавшая на этот случай в его комнате в

Берлине пара презервативов оказалась не под рукой, но он был уверен, что сможет уговорить Адель заняться с ним сексом и без предохранения. В связи со сложившейся мировой ситуацией и всеобщим упаднических настроением незащищённый секс маловероятно мог стать проблемой.

Телефон вибрировал сообщениями от Адель. Она писала, что не хочет раскрывать своего убежища и что они должны встретиться на нейтральной территории. Лучше всего у озера. Ей хотелось искупаться в холодной воде. Липницзее находилось в пяти километрах от неё и должно быть недалеко и от Максимилиана. Он согласился с её предложением и тут же возбудился, представляя голую, а чего им стесняться, Адель, входящую в воду и покрывшуюся пупырышками, которые делали её молодое тело ещё более упругим и ещё более желанным.

Липницзее лежало в десяти километрах от Максимилиана, в двух часах ходьбы через лес и поле. Встретиться они договорились в двенадцать часов у левого края озера. По словам Адель, в ста метрах от берега росло огромное дерево, которое и должно было стать их местом встречи.

Максимилиан добрался до озера без особых происшествий, не встретив на пути никого. На часах — половина двенадцатого. Гаечный ключ он достал ещё километр тому назад. Ладонь плотно охватывала рукоятку, до судорог. Никто не должен помешать его первому свиданию, его последней надежде. Как и описывала Адель, в ста метрах от озера стояло огромное дерево, серьёзно отличающееся от другой растительности. Оно было огорожено заборчиком с табличкой, рассказывающей, что этот дуб посадил немецкий кайзер Вильгельм Первый. Максимилиан присел на забор рядом с табличкой, положил гаечный ключ на колени и начал волноваться, как волнуются все подростки перед первым свиданием. Кулак сжимал гаечный ключ и потел, потели и подмышки, и спина, и на лбу выступили капли нервов.

Ровно в двенадцать он услышал, что кто-то бежит. Обернулся — она. Адель бежала к нему по сухой земле. Широкое, развевающееся платье и пыль смешивались в одну сущность, несущуюся к нему на первое свидание. «Привет, Максимилиан,

как дела? Побежали купаться!» Она улыбалась и светилась, и оказалась намного красивее, чем на фотографии. Максимилиан тут же влюбился в неё, забыл свой страх, бросил гаечный ключ, бросил рюкзак и побежал за ней. Остановившись у берега, она быстро сняла платье, оставшись в красном бикини, и прыгнула в воду. Максимилиан не успел рассмотреть пупырышки на её теле, она уже нырнула под воду и поплыла вдаль от берега. Пока Максимилиан раздевался, она уже кричала ему из воды: «Давай! Поплыли к острову, там красиво! Давай быстрей!»

Они оба изо всех сил плыли к клочку земли в центре озера. Солнце слепило их, они задыхались, но не сбавляли скорость. Они плыли прочь от того, что произошло с их семьями и друзьями, наутёк от того, что произойдёт с ними в будущем. Близкое грядущее было райскими кущами на острове, их удел — пыль земли.

Дарья Эккерт

# Зверь

Она начала писать свою историю сразу же, когда перевернула последнюю страницу толстенной книги любимого короля ужасов. Желание создать что-то такое же ужасающее и мерзкое, перенести на гладкие белые страницы мельчайшие подробности самых тёмных снов, оживить строчками букв ледяные кошмары, напугать до вздыбленных на затылке волосков не только впечатлительного, но и скептического читателя завладело её мыслями и не отпускало, пока не была поставлена последняя точка.

«Не наш формат», — сказало первое издательство. «Слишком мрачно», — буркнуло второе. «Подростки будут читать только о своих сверстниках», — категорично заявило третье. «Пусть главную героиню зовут Изабелла», — мечтательно закатило глаза четвёртое.

Она шла вдоль ярко освещённой улицы и почти не чувствовала, как новые узконосые туфли нещадно натирали ноги. Мама настояла на том, чтобы она оделась «прилично».

«Не смей идти на эту встречу в джинсах и кроссовках», — маминым голосом взвизгнул тонкий каблук по брусчатке.

И то ли мама была права, то ли она оказалась талантливой, но люди из этого издательства действительно хотели опубликовать её книгу.

«Нам очень-очень нравится ваш главный монстр. Мы хотим начать серию действительно страшных книг».

«Но... — она вспомнила, как взгляд человека из издательства скользнул по её строгой белой блузке и снова вернулся к бумагам, — мне кажется, вы могли бы писать более... страшно».

Надо придумать монстра. Цок-цок-пум — каблуки зазвучали глухо, когда она свернула с ярко освещённой улицы в парк. Не просто монстра, а самого страшного, неназванного, ужасающего и уничтожающего. Мысли запрыгали в голове как

теннисные мячики... Темнота, тепло, сладковатый запах гнили... Именно запах будет отличительным знаком. Почувствовав такое впервые, хочется вдохнуть его поглубже, потому что мозг не сразу может определить его происхождение, но уж когда этой вони находится определение, то от понимания, осознания, чем именно наполнились лёгкие, озноб омерзения выбивает крупные капли пота на висках. Зловоние гниющей, пульсирующей живой плоти, заскорузлые края жёлто-гнойной раны, пылающая от заражённой крови мякоть, блестящая, тугая, горячая.

Выстрел сломанной ветки заставил её подскочить, тонкий каблук попал между камней, и она свалилась с ног, вывихнув лодыжку. Сердце гулко заколотилось где-то в горле. Глупо было идти к метро через парк, когда уже настолько стемнело. Вернуться? Вдалеке прошуршала шинами машина. Придётся делать большой круг, потом ещё пересадка, а если пойти дальше, то через двадцать минут будет дома. И парк не так уж и страшен, просто пара фонарей разбита, но вон там, метрах в трёхстах, за поворотом уже будет виден мост и вход в подземку.

Осторожно поднявшись с земли и втискивая горячо пульсирующую ногу в узконосую туфлю, она вдруг замерла. Щелчок второй ветки был тише, но к нему прибавилась тяжёлая, тянущая темнота в ближайших кустах. Кусты жили. Стягиваясь, сгущаясь к центру, ближе к земле, создавали мягкое, дышащее нечто. Надо идти, потихоньку, неловко припадая на сторону, но идти. Нет ничего, ничто не дышит, не ломает ветки, не сидит в кустах.

От горячего дуновения по шее кожа покрылась мурашками. Быстрее...

Сто метров до угла и мимолётный взгляд в сторону. Тихо. Настолько тихо, что это даже видно. Нет больше ни шуршания машин, ни цокота каблуков, ни треска веток. Сзади темнота. Горячая, тяжёлая, она катится огромной, гладкой сферой, угрожающе беззвучно, неудержимо, почти касаясь лопаток и икр.

Сердце грохочет в ушах, и щёки пылают лихорадочными пятнами. Скрипучий бабушкин голос где-то глубоко внутри: «Не поминай Зверя, Надя, не буди темень словами». Тонкие волоски на руках ощетинились волной иголок.

Станция метро взорвалась жёлтыми фонарями, внезапно оказавшись так близко. Горло изнутри царапнуло криком, и

что-то гладкое, обжигающе горячее и... — живое!!! — коснулось всего на мгновение её шеи сразу под мочкой уха.

Надя побежала, как Золушка, потеряв сначала одну, а потом и вторую туфлю, вскрикнула, не вписавшись в арочный проём, и, поскальзываясь на холодных бетонных плитах, под басовитый писк закрывающиеся дверей влетела в пустой вагон метро.

Тяжело привалившись к вертикальному поручню, залитая беспощадно ярким светом, с трудом, со свистом втягивая в пылающие лёгкие воздух, Надя всё быстрее и быстрее скользила вместе с маленьким жёлтым вагончиком в подземный тоннель...

Тёплый, удушающе сладкий запах гниющей живой плоти коснулся её сознания вместе с мигнувшими лампами. Время схватилось в тягучий кисель, когда она оборачивалась. Вонь прокатилась по носоглотке, липко-пресным комком упала в желудок. Краем глаза Надя осознала, как Тёмное потянулось к ней, лохматой клешнёй коснулось шеи вместе со смрадным дыханием. В этот момент мигнуло и буквально на тридцать секунд отключилось освещение в несущемся под землёй метро.

***

Фото трупа немолодой девушки с поседевшими висками украсило первые полосы бульварных газет. Патологоанатом констатировал остановку сердца. Отвратно воняющий бомж с гноящейся раной на ноге растерянно рассказывал, что только хотел попросить у фройляйн немного мелочи.

Rainer Maria Rilke

## Mädchenklage

Diese Neigung, in den Jahren,
da wir alle Kinder waren,
viel allein zu sein, war mild;
andern ging die Zeit im Streite,
und man hatte seine Seite,
seine Nähe, seine Weite,
einen Weg, ein Tier, ein Bild.

Und ich dachte noch, das Leben
hörte niemals auf zu geben,
daß man sich in sich besinnt.
Bin ich in mir nicht im Größten?
Will mich meines nicht mehr trösten
und verstehen wie als Kind?

Plötzlich bin ich wie verstoßen,
und zu einem Übergroßen
wird mir diese Einsamkeit,
wenn, auf meiner Brüste Hügeln
stehend, mein Gefühl nach Flügeln
oder einem Ende schreit.

## Райнер Мария Рильке

### *Переводы Сергея Страхова*

### Девичьи жалобы

В годы детские не очень
Нас манило одиночество
Каждый в спор бесстрашно лез,
Не держался в серединке,
А имел свою тропинку,
И собачку, и картинку,
И друзей, и двор, и лес.

Мне казалось, что навеки
Остаётся в человеке
То, что он хранит в себе.
Отчего же нет, как ране
Утешенья, пониманья
В детской радостной судьбе?

Я отвержена, наверно,
Тяготит меня чрезмерно
Одиночества печать.
Бугорками из-под платья
Чувства молят: крылья дать мне
Иль дыхание отнять....

## Ein Frauenschicksal

So wie der König auf der Jagd ein Glas
ergreift, daraus zu trinken, irgendeines, —
und wie hernach der welcher es besaß
es fortstellt und verwahrt als wär es keines:

so hob vielleicht das Schicksal, durstig auch,
bisweilen Eine an den Mund und trank,
die dann ein kleines Leben, viel zu bang
sie zu zerbrechen, abseits vom Gebrauch

hinstellte in die ängstliche Vitrine,
in welcher seine Kostbarkeiten sind
(oder die Dinge, die für kostbar gelten).

Da stand sie fremd wie eine Fortgeliehne
und wurde einfach alt und wurde blind
und war nicht kostbar und war niemals selten.

# Gottfried Benn

## Ein Wort

Ein Wort, ein Satz, aus Chiffren steigen
erkanntes Leben, jäher Sinn,
die Sonne steht, die Sphären schweigen,
und alles ballt sich zu ihm hin.
Ein Wort, ein Glanz, ein Flug, ein Feuer,
ein Flammenwurf, ein Sternenstrich
und wieder dunkel. Ungeheuer
im leeren Raum: Umwelt und Ich.

### Женская судьба

Порой в пылу охоты сам король
Потянется за флягой, чтоб напиться,
И, жажду утолив, нехитрую вещицу
Подальше в сумку спрячет, с глаз долой.

Так и тебя судьба порой коснётся
Чтоб выпить, поднеся ко рту, до дна,
И маленькую жизнь твою (она
Ведь так хрупка — а ну как разобьётся...)

Отставит бережливо в шкаф забвенья,
Где серебро и злато прошлых лет
(А также то, что только с виду ценно),

На долгое, тоскливое храненье,
Где стариться ты будешь и тускнеть,
Не став единственной, любимой и нетленной.

## Готфрид Бенн

*Перевод Сергея Страхова*

### Слово

Слово, фраза — шифры начальные —
К жизни, к внезапному смыслу.
Солнца восход и сфер молчанье
Тебя, словно путы, стиснут.
Слово, сиянье, полёт и пламя
Вспышка и след звезды,
И снова во мраке чудовищном — сами —
Среди пустоты — Мирозданье и Ты.

## Kurt Tucholsky

### Abschied von der Junggesellenzeit

Agathe, wackel nicht mehr mit dem Busen!
Die letzten roten Astern trag herbei!
Laß die Verführungskünste bunter Blusen,
Das Zwinkern laß, den kleinen Wohllustschrei ...
Nicht mehr für dich foxtrotten meine Musen —
Vorbei — vorbei ...
Es schminkt sich ab der Junggesellenmime:
Leb wohl! Ich nehm mir eine Legitime!

Leb, Magdalene, wohl! Du konntest packen,
Wenn du mich mochtest, bis ich grün und blau.
Geliebtendämmerung. Der Mond der weißen Backen
Verdämmert sacht. Jetzt hab ich eine Frau.
Leb, Lotte, wohl! Dein kleiner fester Nacken
Ruht itzt in einem andern Liebesbau ...
Lebt alle wohl! Muß ich von Kindern lesen:
Ich schwör sie ab. Ich bin es nicht gewesen.

Nur eine bleibt mir noch in Ehezeiten —
In dieser Hinsicht ist die Gattin blind —,
Dein denk ich noch in allen Landespleiten:
Germania! Gutes, dickes, dummes Kind!
Wir lieben uns und maulen und wir streiten
Und sind uns doch au fond recht wohlgesinnt ...
Schlaf nicht bei den Soldaten! Das setzt Hiebe!
Komm, bleib bei uns! Du meine alte Liebe!

## Курт Тухольский

*Перевод Сергея Страхова*

### Прощание с холостяцкой жизнью

Агата, хватит обнажённым бюстом,
Как астр букетом, соблазнять меня
Оставь свои наряды — платья, блузы...
И не подмигивай, и страстно не пеняй
Не для тебя мои кружатся в танце музы
Оставь, оставь меня!
Уж грим смывает лицедей — вчерашний холостяк
Прощай, прощай! Меня теперь законный ждёт очаг.

Прощай, о Магда! О, твоё уменье
Увлечь, да так, что пред глазами пелена.
Закат любимых. Милых уст затменье.
Теперь одна лишь у меня — жена.
Прощай, о Лотта! Шейкой тонкой, стройной
Ты обовьёшь любовь иного дня.
Прощайте все! Детей я недостоин:
Я отрекаюсь. Не было меня!

Но связь одну я сберегу, как ранее,
Супруга «не заметит», все простя:
С тобой я остаюсь, моя Германия,
О доброе и глупое дитя!
Мы влюблены, хотя друг друга раним
Раздорами и бранью не шутя.
Не спи с солдатами! Не изменяй мне вновь!
Вернись ко мне, о старая любовь!

# Johann Wolfgang von Goethe

## Den Vereinigten Staaten

Amerika, du hast es besser
Als unser Kontinent, das alte,
Hast keine verfallene Schlösser,
Und keine Basalte.
Dich stört nicht im Innern,
Zu lebendiger Zeit,
Unnützes Erinnern
Und vergeblicher Streit.

## Gefunden

Ich ging im Walde
So für mich hin,
Und nichts zu suchen,
das war mein Sinn.
Im Schatten sah ich
Ein Blümchen stehn,
Wie Sterne leuchtend,
Wie Äuglein schön.
Ich wollt es brechen,
Da sagt es fein:
Soll ich zum Welken
Gebrochen sein?
Ich grub's mit allen
Den Würzlein aus.
Zum Garten trug ich's
Am hübschen Haus.
Und pflanzt es wieder
Am stillen Ort;
Nun zweigt es immer
Und blüht so fort.

## Иоганн Вольфганг Гёте

*Переводы Сергея Страхова*

### Соединённым Штатам

Америке легче,
чем старой Европе:
Ни ветхих руин,
Ни заброшенных тропок.
И ей не мешают
Сворачивать горы
Ненужная память,
Напрасные споры.

### Нашёл

Я по лесу
без дела брёл
За тем, признаться,
и пошёл
В тени
я увидал цветок
Прекрасный,
словно огонёк
Хотел сорвать,
но он сказал:
Ты хочешь,
чтобы я увял?
Тогда с корнями
я его
Донёс до дома
своего
И там,
в уюте и тени
Цветёт он
и в другие дни.

Александр Таранович

# Поэма о бабьем лете

*Романтическое эссе*

*В жизни мне везло. Почти каждый день я узнавал или видел что-нибудь новое. А чем больше знаешь, тем интереснее и таинственнее делается жизнь...*
*К. Паустовский, «Бросок на юг»*



Плюс двадцать в октябре.

Тихо. Сухо. Солнечно.

Всё вокруг рассмеялось маково-ало.

Плавно летит паутина. Стелется по земле, цепляется за кусты и деревья.

Десант вечного во времени.

Это значит, что Господь послал нам телеграмму радости.

Что наступил конец дождям, которые просачиваются в утренние газеты.

Что можно отправиться на поиски счастливого себя.

Что тяжёлый и шумный мир большого города соприкоснулся с иным миром, и те, кто не утратил свежести восприятия природы, смогут погрузиться в оазис радости...

Бабье лето.

Как состояние.

Как ожидание.

Как желание.

Как вызов повседневности.

Моё десятое бабье лето в Берлине.

Кто-то невидимый нажимает кнопку с надписью *play*, и на задворках моего сознания начинает играть *Jethro Tull*[1]. Бархатная флейта, магический голос Андерсона[2] будут звучать целую неделю.

[1] Британская рок-группа (здесь и далее прим. ред.).

[2] Иэн Андерсон, солист *Jethro Tull.*

Романтический брак мечты с действительностью.

Вот опять я заговорил о бабьем лете, которое поселилось в Кройцберге[3].

Не нужно больше рисовать на небе солнце.

Теперь главное — настроить фибры своей души в унисон бабьему лету. И тогда можно будет найти тропинку в запредельное, не выходя за границу обыденного. Засвидетельствовать свою капитуляцию перед богатством и разнообразием жизни.

Я разрушаю трезвое течение прозы, бросаясь в область новых звуков и новых сочетаний красок, невидимых летом, с потерей чувства меры. Желание передать другим своё видение мира бывает настолько сильным, что требование соразмерности отступает.

Что-то зовёт — быстрее из дома!

И я понимаю — это знак.

Сейчас можно будет обнаружить себя внутри повествования о бабьем лете.

Это значит, что неказистый, стандартный мир отмеренных будней окончился.

Что на какое-то время переживания потеряют силу, съёжатся и уменьшатся, как шагреневая кожа.

*Stop* пакету проблем, наполненному стрессами, финанцамтами, бехёрдами, манунгами, штойерами[4] и иной тоской.

Природа и я — мы даём свой ассиметричный ответ на всю эту вынужденную ремарку наших будней...

Я сажусь на свой старенький велосипед и отправляюсь в путешествие по закоулкам волшебного мира старого Кройцберга, чтобы в очередной раз удивиться непонятной неистребимости природы, бесцельно поболтаться среди городских атавизмов, параллельно осмысливая себя...

Улицы, примыкающие к горе Кройцберг.

Это район для тех, кто умеет ловить нежные звуки поэтических струн Берлина.

Если вы человек, у которого дружат между собой полушария головного мозга, если ваша восьмёрка не распалась на два

---

[3] *Kreuzberg*, район в Берлине, дословный перевод названия — Крестовая гора.

[4] *Finanzamt*, *Behörde*, *Mahnung*, *Steuer* (здесь и далее — нем.) — налоговый департамент, учреждение, напоминание об оплате, налог.

нуля, если у вас открыты каналы духовного зрения и налажено гармоничное соотношение с ритмом Берлина — значит, вам туда.

Я выезжаю из своего логова ранним утром, когда одеяло тумана ещё натянуто до самых шпилей соборов и громоздкая тишина ловит в свой невод тихие звуки утреннего города, подсыхающего от сна.

Утро лежит тихо и свежо.

Поначалу оно не отличается от других.

Флаги на ратуше перестали отвешивать оплеухи ветру.

Вялый блин солнца не спеша выбирается из белёсого бульона, сливаемого в реки и каналы.

Холст неба кто-то неспешно заливает голубой акварелью, чтобы затем повесить на него золотой слиток...

И птицы что-то рисуют на нём крыльями.

В воздухе висит паутина, она связывает тонкой нитью вчера и сегодня, и ты понимаешь, что Кройцберг открыт вечности, но не времени, и что в его гобелене переплелись прошлое, будущее и настоящее.

Время это ощутимо, весомо, зримо, надёжно.

Оно расположено в пространстве памяти.

В Кройцберге всем достаётся по кусочку времени, которое как мысль, работает незаметно. Когда я вижу мигающие лики времени, хочется выдернуть какой-нибудь из них и повесить его у себя дома в рамке.

У природы нет границ.

Она впускает под свой полог всех и не ставит шлагбаумы, как это делают люди, не допускающие в свой мир других людей.

Каждому городу присуще своё биополе. В чём его природа — мне неизвестно. Но знаю, что умею находить контакт с ним.

Каждый раз открываю Кройцберг заново, подобно диковинной раковине, которую невод принёс с большой глубины.

Я называю его улицы, площади и соборы по именам.

Даже деревья называю каждое по имени.

В Берлине много не менее известных и прекрасных мест.

Чего стоит старый город Шпандау, в узких улицах которого затерялась вечность.

Кого не прельщала изысканность площади Виктории, и кто не ощущал дыхание гулких столетий района Николайфиртель.

А каково затеряться на лодке на просторах озера Мюггель, чтобы влететь затем в лабиринт каналов Новой Венеции.

Чего стоит одна площадь Шпиттельмаркт с её шхунами, уснувшими навечно у старинных причалов.

И что может противостоять роскоши кварталов, нанизанных на стебель Курфюрстендамм.

А удовольствие поблуждать по закоулкам Хакских дворов...[5]

Но только Кройцберг — это место, которое задевает чувствительные струны моей души, только здесь произрастают обольстительные фантазии, миражи эпохи, образующие дымку прошлого...

Почему люблю Кройцберг — не знаю.

Может быть, за то, что его улицы и площади ревностно хранят свои загадки и не спешат их отдавать. Может быть, оттого, что с его биополем у меня есть контакт.

Это необъяснимо.

Любовь, которую можно объяснить — это уже не любовь, а расчёт.

И почему любовь к городу может быть так полна и не мучительна? Попытаться бы перенести эту любовь в сферу человеческих отношений...

Я представлял себе Берлин менее интересным, чем он оказался.

Я влюблён в душу этого города, и она отвечает мне тем же.

Не самообман ли это?

Отнюдь нет. Я знаю немцев, живущих в России, влюблённых в Ленинград и Москву.

Я знаю, что в России живёт поэт, влюблённый в Берлин, хотя он ни разу здесь не был.

Гора Кройцберг.

Пахнет тишиной, облака качаются на ветвях деревьев.

---

[5] *Viktoriaplatz* — площадь в районе Mariendorf в южной части города; *Nikolaiviertel* — один из самых старых кварталов Берлина, находится в центральном районе *Mitte*; *Müggelsee* — озеро в восточной части города; *Spittelmarkt* — старинная площадь в районе *Mitte*, *Kurfürstendamm* — одна из центральных улиц Берлина, располагается в западной части города, *Hackesche Höfe* — ранее торговые дворы, ныне — туристическое место в районе *Mitte*.

Здесь не ощущается действие портняжных ножниц истории. Здесь понимаешь, что ты оказался где-то между прошлым и будущим. Надо уметь почувствовать особую энергетику горы, буквально завораживающую тебя с первых нот.

Когда смотришь с неё на Берлин, кажется, что ты большой ребёнок, а всё вокруг — макеты детских игрушек. Словно кто-то поворотом ключа запустил размеренную игрушечную жизнь.

Вагончики метро спешат из пункта А в пункт Б и обратно.

Человечки видятся в немецких колпаках, в полосатых чулках и с фарфоровыми трубками в зубах.

Кажется, что и сама вселенная приводится в действие заводным ключом.

Здесь не пульсирует сердце большого города, его гулкие удары не доходят сюда.

Не слышно *рэйва* полицейских сирен.

Берлин как на ладони.

Место, где вы ощущаете, как далеко забрались в историю.

Куда ни кинешь взгляд, всюду крыши, рой крыш со своими гребнями, перекатами, хребтами, бородавками и волдырями.

Колокола уже сплюнули клубок аморфных колыханий набата, и даже вездесущий си минор скорой помощи не долетает сюда. Гора рождает все ноты тишины.

Ощущение, что не ты смотришь на город, а город на тебя.

Повсюду стоят дома в красивых кружевных платьях, сохраняя под вуалью воздух чистых девичьих побед и никогда не обманывающих мечтаний.

Вплетённые в ткань времени шпили соборов и церквей тонут в дымке, оставляя ощущение фантома.

Мир художников Генриха Цилле и Отто Нагеля[6].

Первая мысль: как неправдоподобно красиво.

Вторая догоняет первую — это подарок.

Здесь я хочу обойтись без своего главного оружия — метафоры, переводящей вещь в слово, а слово — в символ. Метафора создаёт условия для прыжка в глубь — и замолкает, доведя тебя до входа, туда, куда можно проникнуть лишь в одиночку.

[6] *Heinrich Zille* (1858–1929), *Otto Nagel* (1894–1967), немецкие живописцы и графики.

Стою возле памятника победы над Наполеоном[7] — чудом ваяния Карла Фридриха Шинкеля[8].

Внизу грохочет по камням водопад, прорезая лесную чащу. Здесь многое напоминает театральную декорацию.

Прах веков на остатке крепостной стены ревниво хранит свои загадки. Здесь часто грохотали пушки. Сменяя друг друга, стояли австрийские, шведские, французские и русские артиллеристы. Но сегодня я не описываю историю горы, это *lange Geschichte*[9], как говорят немцы.

Лучше бросить свой велосипед вниз с крутого склона, мимо пропасти, пропахшей грибной прелью, сквозь туннель из огромных чёрных елей, где редкие лучи солнца, пробившись сквозь сети ветвей, скользят в туманном воздухе по замше каменной стены.

Вспоминается Феллини: «Никакая самая изощрённая техника светопередачи не сможет сказать больше, чем луч света, пробивающийся сквозь листву».

И пруды под горой, и изумрудный луг покрыла опавшая листва.

Весь Кройцберг затоплен этим омлетом, и старые камни мостовой, и площади, и парки, и каналы... и только флотилия белоснежных кораблей неподвластна ему.

Велосипед несёт меня сквозь тихую аллею... кадмий сверху и снизу, угольные тела деревьев застыли в летаргическом сне, как солдаты на параде...

Атмосфера сновидений.

Густой, как дикий мёд, тягучий воздух.

Внезапно — журавлиный крик. Стая величаво и плавно проносится и исчезает в синих волнах ясного неба.

Осень предлагает свою палитру цветов: охра, кармин, пурпур, багрянец, бирюза, кадмий в своём умопомрачительном сочетании. Они приходят на смену надоевшей за лето блеклой зелени.

---

[7] Национальный мемориал памяти освободительной войны в Германии (*Nationaldenkmal für die Befreiungskriege*), находится в парке Виктории (*Viktoriapark*) неподалёку от улицы Мерингдамм (*Mehringdamm*).

[8] *Karl Friedrich Schinkel* (1781–1841), немецкий архитектор и художник.

[9] Долгая история.

Что дальше?

А дальше Кройцберг размножает меня по своим улицам, площадям, каналам. Миновав замки и помпезные старые здания со следами заносчивости имперского Берлина, мой велосипед выносит меня на Бергманнштрассе[10] — это ковчег для художников, поэтов, музыкантов, писателей.

Это Монмартр Берлина, где есть узкие горбатые, мощёные булыжником улочки, свой Сакре-Кёр, галереи, ателье, мастерские художников, театры и кабаре.

Это место, где жизнь застыла, не потревожив тонкой пыльцы времени. Здесь нет вавилонского столпотворения народов, как на Котбуссер Тор[11], где каждая встреченная пара говорит на новом языке.

Это уже не тот злачно-багдадский Кройцберг. Этот свой уголок город не отдаёт современности, здесь он прячет любовь в свою юность. Здесь можно заблудиться в бесконечных туннелях, заросших плющом, проходных дворах, убаюканных тишиной. Возле старинной круглой башни на Фидицинштрассе[12] забрести во дворик художников, уставленный скульптурами и горшками с экзотической флорой, где на стене огромными буквами выведено: «Мы и лягушки нуждаемся в свежем воздухе».

Здесь полированные столетиями камни мостовых усыпаны гремящей жестью листвы. Ещё шаг — и попадаешь в тихие каменные дворики, образующие анфиладу, где время распределено по разным эпохам.

Лысый булыжник, голубой квадрат неба, врезанный между крыш, золотистое марево солнца...

Бергманнштрассе — стержень этой жизни. В настоящей испанской *бодэге*, погребе, настоящие испанские крестьяне будут перебирать струны гитары, а вам подадут пять сортов «Сангрии» и настоящую паэлью.

Уютные полуподвальные кофейни размером с комнату, где собирается андеграунд, где девушки, восходящие босиком по ступеням испытаний, воспроизводят первую главу предсказанного судьбой романа...

---

[10] *Bergmannstraße* — одна из самых известных улиц в Кройцберге.

[11] *Cottbusser Tor* — площадь и станция метро в Кройцберге.

[12] *Fidicinstraße.*

Шеренги жмущихся друг к другу домов с опереточными балконами и лепниной на них, перегрызаемые иногда пастью перекрёстков. Стиль эпохи грюндерства, позднего классицизма, характер которого определил Шинкель. Дома эти обижаются на звуки рока и техномузыки, раздражающие их, воспитанный XIX веком, слух. Грустят, когда вместо гусаров, статских советников и дам в кринолинах из них выходят парни в рваных джинсах с ирокезами на головах и татуированные девицы с пирсингом.

На этих улицах всюду чувствуется чугунный шаг времени.

Здесь чувствуешь, как шагаешь по кольцу Мёбиуса, ведущего из одного мира в другой.

Ржавеют старинные фонари, эти огромные одуванчики, пытающиеся взлететь, оторваться от земли.

Живые фрагменты прошлого — литые водоколонки, в которых сохранилось патриархальное достоинство исчерпавшей своё назначение вещи. Их вещество живёт отдельной жизнью от города. Один шаг, и вы попадаете в эпоху кайзера Вильгельма II, ещё шаг — в эпоху Бисмарка.

Но не старина освобождает от времени.

Сама природа и есть время, во всяком случае его слепок. Когда мы уподобляемся флоре, ничего не происходит, но всё меняется.

Время, как мысль, работает незаметно и безостановочно...

Здесь, на маленьком блошином рынке, приткнувшемся у фонтана на площади Мархайнеке[13], где вяленая листва пахнет азовской воблой, можно купить кусочек счастья в разлив.

Эта площадь сразу же берёт в плен своеобразием.

Сюда приходят, чтобы посмотреть, что продают, и на тех, кто продаёт, сменить свободу передвижения в пространстве на свободу передвижения во времени.

Глядя на некоторые типажи, думаешь, что они остались здесь заложниками со времён Карла Великого и Барбароссы.

Среди них вы встретите персонажей, толпящихся за кулисами, но требующих для себя выхода на авансцену, чтобы сыграть судьбу на бис...

---

[13] *Marheinekeplatz.*

Медленно опадают листья на оранжевые, зелёные, белые и даже чёрные тыквы, уснувшие в плетёных корзинах. Я советую вам купить букет поздней иранской сирени, где в каждой чашечке скрывается маленькая капля холодной влаги, пряной на вкус.

Золотой крест церкви Страстей Господних[14] царапает бирюзовую парусину неба.

Церковь эта, как резная шкатулка, из палисандрового дерева, прекрасна и снаружи, и изнутри. К ней прилепилось маленькое чудо — белый домик в пять этажей, по одному окошку на этаже. Он не шире размаха рук высокого человека.

Далее, как и в Париже, идёт скопище балконов с изумительной лепниной и коваными решётками, «гранитные надбровья», как называла их жившая здесь Марина Цветаева.

Здесь всякие *osteria*, *pizzeria*, *kaffeteria*, *vineria*, *trattoria* наполняются художниками, поэтами, музыкантами и просто *лебенскунстлерами*[15], как они сами себя называют, рефлексирующими на всё интеллигентами.

Здесь, сидя за уютным столиком итальянской *vineria* с бокалом вина под названием «бабье лето», понимаешь, что жизнь состоит из многоцветья прекрасных моментов и нужно просто уметь наслаждаться ими...

...К вечеру я заканчиваю свой маршрут на турецком рынке — оазисе Востока, расположившемся вдоль древнего канала под кронами платанов... Но о турках в следующий раз.

Покупаю сыр «Спагетти», похожий на бороду аксакала, оливки и лаваш. Мой путь лежит мимо кафе *Ankerklause* с якорем на фасаде. На его террасе, нависающей над водой, полыхают костры герани.

Я прихожу сюда, чтобы послушать Хосе, поющего в окружении толпы на маленькой площадке на берегу, где столетние ивы полощут свои длинные косы в тёмной воде.

Он мал, худощав и некрасив, этот испанец с большими проплешинами на голове. Жидкая бородёнка делает его похожим на Че Гевару. Он всегда босиком, как выходец из иррационального мира.

---

[14] *Passionskirche.*

[15] *Lebenskünstler* — человек, любящий наслаждения.

Но когда он исполняет фламенко своим тембром, ломким, как клёкот орла, и в слове «гитара» делает пять «р» за одну секунду, всё внутри переворачивается, и я вижу, как срываются мгновения жизни и уносятся ввысь...

Вспоминаю Барселону, Гауди, Ла Рамбла, Ллорет де Мар, бронзовые скалы, чёрные головы утёсов, одетые в белую пену волн, горы, легко перетекающие одна в одну и покрытые каталонской мозаикой олеандров, голубые кактусы, нависшие над бирюзовым морем...

Сегодня даже птицы не высказывают свои критические суждения. Десятки людей сидят на земле, поджав ноги и расслабившись. Вокруг снуют трёхлетние белоголовые крепыши в красивых шейных платках, шлёпаются на неумело расставленные ручки в ковёр из жёлтых листьев и не плачут.

А их матери с подсевшей энергетикой тоже сидят вокруг, уставившись в одну точку. Не научившиеся плыть по жизни, женщины с неброскими следами алкоголизма на лице, так похожими на следы мужества, расслабляются, блуждая по лабиринтам своего внутреннего мира...

Опускаясь, солнце вытягивает огненной плетью поверхность воды, над которой в дымке парят древние соборы... Последний луч выхватывает многоэтажные каскады зелёных ив, склонившихся над тёмной водой, с приклеенными на ней шванами[16]. Декорации к «Лебединому озеру». Всё становится более выпуклым и весомым. Краски приобретают густоту, дальний план уходит в бесконечную прозрачность. Вечер, подёрнутый лиловым налётом, приносит на своих крыльях тишину.

Редко кому повезёт увидеть «зелёный» луч солнца на закате. Я видел его дважды.

Меня научил этому Клод Моне.

Как дважды видел «сражение» на Варшавском мосту между Кройцбергом и Фридрихсхайном[17].

Хочется не отпускать этот день, вцепиться в него зубами и всеми фибрами души...

---

[16] *Schwan* — лебедь.

[17] *Friedrichshain* — район в Берлине, соседствующий с Кройцбергом.

Опрокинув пару рюмок *Ramazotti*, колесить до упаду по пустынной площади Шамиссо[18], над которой нежно разлила своё серебро луна, вяжущая из мыслей причудливые петли.

Бороздить колёсами сугробы шелестящей листвы.

Потом бросить велосипед где попало и делать только то, что хотят твои ноги, утвердиться в поэтике и эстетике абсурда.

Например, смешаться с толпой туристов, говорящих на языке Рамазотти, и бесцельно бродить по блестящим черепашьим спинам горбатых улочек...

Искать то ли тень самого Шамиссо, то ли его друга, сказочника с мятущейся душой Э. Т. А. Гофмана, который умел превращать реальность в поэтический сон.

Заглядывать то в старинный туалет-восьмиугольник на углу (место встреч швулей[19]), то в кафе, в окне которого изображён Навуходоносор на пару с Че Геварой.

При свете трепещущих факелов вдыхать звуки классической гитары.

И всё это вписывается в ткань повествования о «бабьем лете».

Прошлое — объект экспансии настоящего, и туристы — авангард его армии. Их взыскательная любовь просеивает века.

А люди, не замечая этого, проносятся мимо в своих жестяных гробах.

Они живут в бешенном темпе, постоянно спешат за чем-то и к чему-то, не замечая того, что получили, что составляет их настоящую жизнь.

Кто знает, Берлин, может быть и я — твоя частица, и смогу найти себя в эстетике твоего огромного бытия...

На этой ноте хорошо бы закончить эту искромётную релаксацию.

Потом будет всё опять — новый труд, новые встречи, беды и удачи.

Каждый раз, когда уходит бабье лето, кажется, что уходит частица самого себя.

И я бросаю монетку в канал...

[18] *Adelbert von Chamisso* (1781–1838), немецкий литератор и естествоиспытатель; родился во Франции.

[19] *Schwul* — гомосексуал.

Алексей Медведев

# «Патетическая симфония»: биографический автобиографический роман Клауса Манна

*Клаус Манн (Klaus Mann) широкому кругу читателей известен чуть менее собственного отца — лауреата Нобелевской премии в области литературы Томаса Манна (Thomas Mann). Однако за свою недолгую жизнь — Клаус Манн родился в 1906 году, а умер уже в 1949-м, — он успел написать несколько романов, оставивших значительный след в немецкой литературе. В журнале «Берлин.Берега» филолог Алексей Медведев из Гамбурга рассказывает об одном из главных текстов Клауса Манна — романе «Патетическая симфония» (опубликован в 1935 году), посвящённом композитору Петру Чайковскому.*

Реакция современников на «Патетическую симфонию» («*Symphonie Pathétique*») была преимущественно положительной. Роман получил ряд хвалебных отзывов со стороны критиков, что, на первый взгляд, может показаться странным. Ведь такой политически ангажированный писатель как Клаус Манн, который, не в пример своему отцу, рано и навсегда определился со своей политической позицией, став с первых дней эмиграции одним из лидеров антифашистского движения немецкой интеллигенции, обратился к такому внешне аполитичному, идеологически индифферентному жанру, как роман о художнике. К тому же Манн взял в качестве героя Петра Ильича Чайковского — столь «негероическую» фигуру. Тем не менее, рецензенты хвалили роман почти единодушно. Так, Отто Царек писал в газете *Pester Lloyd*, что «Клаус Манн освободился этим романом раз и навсегда от подражания великому отцу»[1]. Франц Гольдштейн (*Franz Goldstein*)

[1] Naumann U. *Ruhe gibt es nicht, bis zum Schluss*. Klaus Mann (1906–1949). Bilder und Dokumente. Reinbek, 1999, S. 174.

высказал мнение в катовицкой *Wirtschaftskorrespondenz für Polen*, что «вся меланхолия и патетика, определявшие жизнь и творчество русского маэстро, великолепным образом адекватно переданы поэтикой Клауса Манна»[2]. Издания *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, *La Nouvelle Littéraire, Neue Freie Presse* отметили в своих рецензиях «музыкальную атмосферу», «язык, полный музыкальной чувствительности, грации и молодости», «музыку Чайковского, его мелодии, слышные в каждом слове, в каждом диалоге»[3].

Мнение коллег писателей было также единодушно. Стефан Цвейг (*Stefan Zweig*) написал Манну, что последнему удалась страстная, пронизанная ритмом книга, «вероятно, Ваша лучшая, потому что она возникла из одного интенсивного чувства»[4]. Бруно Франк (*Bruno Frank*) назвал роман о Чайковском «независимой, подлинной книгой, чьё повествование умеет создать впечатление непреднамеренности и лёгкости»[5]. Герман Кестен (*Hermann Kesten*) написал Манну восторженное письмо, в котором поздравил с выходом этой «многозвучной книги» и констатировал: «То, что Вы смогли создать такой многосторонний и сложный образ [...], говорит о зрелости Ваших психологических и эпических средств»[6].

Как отреагировали на роман писатели — члены семьи Манн? Отзывы дяди Генриха были более чем благожелательные. В письме к племяннику, отправленному 18 декабря 1935 года из Ниццы, он называет «Патетическую симфонию» подлинно удивительной книгой, хвалит композицию романа и, самое главное, удачный выбор романного материала, позволившего создать живой образ ушедшего девятнадцатого века[7]. Как и большинство остальных рецензентов, критиков и просто читателей, Генрих Манн считает «Патетическую симфонию» лучшим романом Клауса Манна — при том, что через год это уже не будет соответствовать истине, так как появится «Ме-

[2] Там же.
[3] Там же.
[4] Gregor-Dellin M. K. Mann. *Briefe und Antworten*, 1922–1949. Reinbek, 1991, S. 241.
[5] Frank B. «Symphonie Pathétique». In: Das Neue Tage-Buch, 4.Jg., H. 13, 28.3. 1936, S. 309.
[6] Gregor-Dellin M. K. Mann. *Briefe und Antworten*, 1922–1949. Reinbek, 1991, S. 236–239.
[7] Там же, S. 239–240.

фистофель». Оценка романа Томасом Манном была гораздо более критическая. В своём дневнике он делает следующую запись: «Клаус читал вслух [...] из своего романа о Чайковском. Захватывает, но немного не хватает значительности»[8]. Гораздо выше Томас Манн оценил роман «Бегство на север», считая его важным шагом в творческом развитии сына. Возможно, что такая достаточно сдержанная реакция на «Патетическую симфонию» объясняется слишком личной проблематикой романа. Открытое обращение сына к теме однополой любви было, вероятно, причиной такого отношения к роману отца, старавшегося по меньшей мере в общественной жизни дистанцироваться от болезненного для семьи Манн вопроса.

В романе Клауса Манна рассказывается и о детстве главного героя, и о его юности, однако основной акцент сделан на последних годах жизни композитора, предшествующих его ранней смерти. Мы следуем вместе с Чайковским по городам России, Европы и Америки во время его многомесячных концертных турне, видим его работающим над финальным произведением, его завещанием — «Патетической симфонией». Роман был задуман Манном как автобиографическое произведение, своеобразная исповедь. Акцент, сделанный на финальной симфонии русского композитора, представляется неслучайным: В традиционном для немецкой литературы романе о творческой личности (*Künstlerroman*), начиная с самых его истоков, присутствует тема финального произведения как итога жизненного и творческого пути творца[9]. В романе нет ярких событий, нет динамично развивающейся фабулы — сама фигура меланхоличного стареющего Чайковского не подразумевала этого. В главе, посвящённой его поездке в Америку, есть авторское размышление по этому поводу: «Требуют фактов, анекдотов, авантюр; чего-нибудь пикантного, трогательного и забавного из его жизни. Но, к сожалению, у него внешне не-

[8] Wohlfahrt A. *Die Vater-Sohn-Problematik im Leben von Thomas und Klaus Mann*. Frankfurt/Main, 1989, S. 85.

[9] Эта тема встречается уже у Вильгельма Генриха Ваккенродера в «Жизни Иосифа Берглингера» (1797). В двадцатом веке она прослеживается у Франца Верфеля в романе «Верди» (1924), у Т. Манна в «Докторе Фаустусе» (1947), а также у Ханса Хенни Янна в трилогии «Река без берегов» (1949–1961).

драматическая биография: большой сенсации тут не найти»[10]. Драматизм, перерастающий в трагизм, ощущается при описании внутреннего мира главного героя.

Историческое время в романе как бы начинает двоиться. За тщательно выписанным полотном культурной жизни Старого и Нового континентов конца девятнадцатого века, сквозь многочисленные реалии жизни той эпохи, всё же угадываются отдельные приметы немецкой действительности 1930-х годов, что, вероятно, сразу отмечала читающая часть эмигрантской общественности. Особенно очевидно это в описании Германии и немцев. Перед писателем стояла нелёгкая задача посмотреть на свою родину глазами иностранного композитора девятнадцатого века. Возможно, поэтому некоторые эпизоды представляются несколько клишированными, как, например, описание гуляющей публики на Унтер ден Линден в Берлине: «Но как они выглядят [...]. Каждый из них — маленький Бисмарк: воинственные мины, торчащие усы, кустистые брови, угрожающая решительность на лице, много внушающего страх, военная форма, сабли [...]. Дамы, с поднятой головой, каждая из них — Германия, в полном сознании своего неприкосновенного достоинства, муфта в руке как трофей» (27). Довольно образно, но всё же слишком стереотипизированно выглядит в первой главе сцена разговора между главным героем и официантом в номере гостиницы, построенная на контрасте: высокий и стройный, как прусский гвардеец, стоящий навытяжку официант и мягкий, кроткий, беспомощный, лежащий в своей постели композитор.

Высказывания главного героя напоминают гораздо больше Германию 1930-х годов. По поводу Берлина он произносит: «Что за город! Настоящая столица для этой триумфирующей страны — самой опасной страны континента, которой до конца никто не доверял, которую до конца никто не любил, но с которой все должны были считаться» (26). Клаус Манн создаёт образ германской столицы: «Берлин являл себя своей вызывающей красотой, как будто он хотел громко крикнуть:

[10] Текст в переводе автора статьи цитируется по изданию: Mann K. *Symphonie Pathétique. Ein Tschaikowski-Roman. Berlin-Weimar*, 1989. В дальнейших ссылках на это издание номер страницы указан в скобках.

Смотрите же, вы, иностранцы, и радуйтесь! Я — имперская столица мощного, быстро развивающегося, победоносного и всеми уважаемого государства» (288).

Граница между чужим и враждебным, переход из одного качества в другое оказывается мгновенным. Сама красота Берлина несёт в себе угрозу, она приносит беспокойство композитору. Вновь возвращаясь к описанию Унтер ден Линден в первой главе, мы чувствуем это ощущение тревоги: «Широкий проспект показывал, словно во время триумфа, свою впечатляющую красоту. По Бранденбургским воротам [...] было видно, их построили для того, чтобы победоносные войска могли маршировать через них под грохот и гул барабанов [...] Петр Ильич был вырван из своих нежно-скорбных мыслей шумом, который его испугал; это была всего лишь большая собака, которая лаяла на экипаж. Но даже у этого лая был угрожающий тон. Угрожающим был и взгляд, который бросил на иностранного пассажира [...] полицейский: [...] страж порядка, казалось, был уже готов арестовать на месте этого [...] иностранца. — Мимо проходила группа детей, по-военному организованным строем и то, о чём они пели, было о немецкой чести и о том, что скоро снова разобьют французов. Над лающей собакой, поющими детьми и грозным полицейским господин в доспехах победоносным жестом протянул свою шпагу. Господин был из белого камня — статуя, украшавшая [...] замёрзший фонтан“ (29). Отметим реалистичность этого эпизода, создающего за счёт звукописи, а также отбора лексических средств мрачную, напряжённую атмосферу. Преобладает военная терминология, а также слова — реалии 1930–40-х годов, такие как *Schutzmann* и *Schar*[11], создающие эффект раздвоения.

Параллели другого ряда можно провести, анализируя главу о посещении Чайковским летом 1876 года открытия фестивального театра в Байройте, где он присутствует на постановке вагнеровского «Кольца». Музыка Рихарда Вагнера (*Richard Wagner*) производит на героя гнетущее, убийственное впечатление, после чего ему хочется больше всего посмотреть

[11] Словом *Schutzmann* в Германии вплоть до 1945 года называли полицейского, а *Schar* — отряд, отделение штурмовиков, гитлерюгенда, а также войск СС.

«Сильвию» французского композитора Лео Делиба, на что его собеседница, певица Дезире Арто отвечает: «...думать об этом в Байройте — на это никто бы не отважился, мне казалось бы это даже греховным» (106). Байройт был местом «паломничества» верхушки национал-социалистов во главе с Гитлером, который считал Вагнера высочайшим образцом арийской музыки и использовал это имя в пропагандистских целях. Таким образом, имя Вагнера невольно ассоциируется с фашизмом и имеет в контексте немецкой эмиграции часто негативные коннотации.

В десяти главах «Патетической симфонии» автор воссоздал интенсивную музыкальную жизнь Европы конца девятнадцатого века, что потребовало от него предварительной подготовки. Изображаемая в романе европейская действительность характеризуется большей или меньшей фактологической достоверностью. Прочитав роман о Чайковском, читатель может составить себе общее представление о том, чем были наполнены мысли деятелей культуры ушедшего века. Особую аутентичность роману придают многочисленные упоминания известнейших людей того времени, прежде всего из сферы музыкального искусства: Модеста Мусоргского, Антона и Николая Рубинштейнов, Николая Римского-Корсакова, Эдварда Грига, Йоханнеса Брамса (*Johannes Brahms*), Густава Малера и других. Манн также пытается передать атмосферу того «проблематичного века», когда «главные умы Европы начали утрачивать чувство меры и направления»[12]. Поэтому Чайковский с его «больной страстью»[13] — только фрагмент эпохи, взятый крупным планом. Его приступы смертельной тоски, его аполитичность, его затворничество, его тяга к смерти, наконец, его мучительная агония и самая смерть — симптомы приближающейся агонии европейской цивилизации.

Другая отличительная черта романа заключается в выборе героя и его эпохи. Герой Клауса Манна — не философ античности, не титан Возрождения, не гений Просвещения. Чайковский — личность, максимально приближенная к нашему времени (между смертью композитора и рождением писателя

[12] Mann K. *Auf verlorenem Posten. Aufsätze, Reden, Kritiken* 1942–1949. Reinbek, 1994, S. 527
[13] Там же.

прошло всего тринадцать лет). Во всех своих высказываниях по поводу романа писатель постоянно подчёркивал мысль, насколько важно ему было взять в качестве главного героя не хрестоматийную личность, «не Бетховена, не Баха, а сомнительного гения. Как раз сомнительность его гения, надломленность его характера, слабость художника и человека делали его близким, понятным, достойным любви»[14], писал он в автобиографии «На повороте». В аннотации к роману Клаус Манн отмечал: «Уходящий девятнадцатый век — как богат он был великими людьми! В ходе повествования я называю их однажды “проблематичными гигантами”. Чайковский был одним из них»[15]. В статье «Испытание европейского духа» (*Die Heimsuchung des europäischen Geistes*) он называет Чайковского в ряду Ницше, (*Friedrich Nietzsche*), Кьеркегора, Бодлера, Толстого, Достоевского, Уайльда, Стриндберга, Вагнера, Флобера, Верлена, Рембо, ван Гога, как пример «отдельной трагедии, предшествовавшей всеобщему кризису, потрясающему сейчас нашу цивилизацию в самых её основах»[16].

Клаус Манн, работая над образом Чайковского, тщательно изучал биографический материал. Писателем практически полностью воссоздана жизнь русского композитора. Опираясь на биографов Чайковского, в частности, на Эверетт Хелм[17], можно установить аутентичность большей части эпизодов, связанных с его жизнью. Это и воспитание в родительском доме в Воткинске, отъезд в 1848 году любимой гувернантки мальчика — Фанни Дюрбах, с которой ему ещё суждено встретиться спустя много десятилетий во Франции, учёба в Петербурге в юридической школе, смерть матери от холеры в 1854 году, дружба с будущим поэтом Алексеем Апухтиным, годы в Петербургской консерватории. Здесь и знакомство в 1868 году с французской певицей Дезире Арто, и короткий брак с Антониной Ивановной Милюковой в 1877 году, и многолетняя

[14] К. Манн. На повороте. Жизнеописание. М., 1991, с. 345.
[15] Mann K. *Zahnärzte und Künstler. Aufsätze, Reden, Kritiken*. Reinbek, 1993, S. 380.
[16] Mann K. *Auf verlorenem Posten*... 1942–1949. Reinbek, 1994, S. 527.
[17] Zynda S. *Sexualität bei Klaus Mann*. Bonn, 1986, S. 97–107.

переписка и финансовая поддержка Надежды Филаретовны фон Мекк, резко оборвавшаяся в 1890 году, равно как и последние годы жизни, проведённые им в обществе горячо любимого племянника Владимира Давыдова, которому он посвятил свою последнюю Шестую симфонию си минор (вскоре после её премьеры Чайковский умер — 6 ноября 1893 года, вследствие холеры).

Тем не менее, мы видим и некоторые расхождения с биографическими данными.

Значительной трансформации подвергся в романе образ матери Чайковского, Александры Андреевны. Если в реальной истории композитора она оказала на маленького Пьера не меньшее влияние, чем гувернантка Фанни Дюрбах, то у Клауса Манна она остаётся для мальчика загадочным, непонятным существом: «В Фанни всё было знакомо; в матери всё было чужим» (122). Ребёнка пугали её внезапные перепады настроения, её неистовствующее безудержное веселье, сменявшееся беспричинной апатией и почти враждебной холодностью. Прекрасные, но холодные руки матери отталкивают мальчика от себя, когда он не хочет оставаться один в чужом холодном Петербурге. В романе Александра Чайковская добровольно принимает смерть, выпивая заражённую холерой воду. Это биографически недоказанный факт, однако автор сознательно включает его в роман — с тем, чтобы показать параллелизм судьбы сына и матери, что лейтмотивно выражено на сюжетном уровне.

Общей концепции романа соответствует и его трагически окрашенный финал, когда композитор, вопреки предупреждениям брата и племянника, выпивает во время обеда в одном из ресторанов Петербурга стакан воды, подозревая, что вода заражена, а вскоре после этого умирает. Таким образом, круг в романе замыкается, и композитор хотя бы в смерти становится ближе к своей матери, которая была так притягательна, но безнадёжно далека от сына при жизни.

Биографы Чайковского не имеют точных доказательств его суицидных наклонностей, и всё же тема очарования смертью становится одной из главных, если не самой главной в романе. Это имеет уже не биографические, а автобиографические причины. И связано это не с самим протагонистом, а с личностью

автора, которого можно без преувеличения назвать одним из наиболее саморефлектирующих в собственном художественном творчестве немецких писателей. Ряд критиков небезосновательно считает, что в романах Клауса Манна гораздо больше от него самого, чем от описываемых им лиц[18] [19]. Действительно, сравнивая жизнь героя и автора, можно убедиться в том, насколько схожи судьбы двух художников. Сходство прослеживается и на уровне жизненных обстоятельств, и на уровне мироощущения. Очень похоже, например, отношение маленького Петра к девочкам как к товарищам по совместным детским занятиям. Его неприятие споров, драк, шумных забав мальчишек-одноклассников, его мягкость и покладистость напоминают самого Клауса в детстве, а привязанность маленького Чайковского к сестре Саше, сохранившаяся на всю жизнь, имеет параллель и в жизни Клауса: сестра Эрика была его другом и помощником во время совместных путешествий, театральных проектов и антифашистской деятельности.

Объединяют героя и автора и сложность творческой судьбы. Оба долго шли к признанию современниками. Обоих долгое время обвиняли в эпигонстве и отсутствии оригинальности. «Второсортное создание, состоящее из всяческих неясных элементов» (240), так отзывается о себе главный герой. «В Лейпциге меня упрекают в том, что я француз, в Гамбурге — что я азиат, в Париже — что я немец, в России считают, что я всё это вместе, и уж во всяком случае совершенно неоригинален» (146). Аналогичные отзывы слышал и сам Клаус Манн, который в литературном плане ориентировался на авторов девятнадцатого века, прежде всего, французов.

Очевидно, что связь между двумя художниками более глубокая, более насыщенная эмоционально и интеллектуально.

[18] Такой точки зрения придерживается, в частности, Армин Керкер, называя романы К. Манна «самоидентификациями», «проекциями я», «встречами с собой». См. Kerker A. Ernst Jünger-Klaus Mann. *Gemeinsamkeit und Gegensatz in Literatur und Politik*. Bonn, 1974, S. 75.

[19] Схожую позицию занимает Зузанне Вольфрам, считая, что «многое можно расценить как автобиографическое признание, так как только тот, кто знает это по своему опыту, может с такой интенсивностью изобразить переживание и жизненный опыт русского композитора“. См. Wolfram S. *Die tödliche Wunde. Über die Untrennbarkeit von Tod und Eros im Werk von Klaus Mann*. Frankfurt/Main, 1986, S. 146.

Она может быть определена как *комплекс ненайденной самоидентичности*, как *синдром врожденного космополитизма.*

Состояние эмиграции было знакомо обоим. Но если для Чайковского эмиграция имела скорее переносный смысл, означая уход в себя, отказ от собственного творчества, то для Клауса Манна это слово стало реальностью уже в 1933 году. В этом отношении можно говорить о принципиальном отличии «эмигрантства» автора и героя. Главным водоразделом их изгнанничества становится политика и отношение к ней. В этом смысле герой и автор стоят на диаметрально противоположных позициях. Один — убеждённый пацифист, считающий музыку (искусство вообще) и политику несовместимыми вещами, другой — политический репортёр, издатель антифашистского журнала, солдат, сражающийся в армии союзников. Это означает, что различие между героем и автором наблюдается не на уровне мировосприятия, а на уровне мировоззрения, то есть жизненной позиции, что представляется весьма значительным, однако не определяющим для данного романа.

Ответ на вопрос о степени присутствия автора в романе даёт, как нам видится, само заглавие. Общеизвестно, что симфония № 6 си-минор, опус 74 «Патетическая» является самым автобиографическим произведением Чайковского. Она послужила Клаусу Манну метафорой собственной жизни, которая, как и жизнь Чайковского, была «лишь увертюрой к одинокой смерти»[20].

Общая концепция романа определила и постоянное смещение акцента с описания внешнего облика главного героя на изображение его внутреннего мира. В романе мы находим крайне скупые сведения о внешности композитора, да и они мало что объясняют нам, так как страдают клишированностью: «Агент подал ему и большую круглую шапку. Укутанный таким образом, Пётр Ильич стал вдруг походить то ли на русского князя, то ли на зажиточного крестьянина» (24). «Он сделал широкое, энергичное движение рукой, которая в толстом рукаве двигалась по-медвежьи неуклюже, — казалось, словно он хотел ударить лапой» (303). Лишь закованный в узкий фрак, он становится все-

[20] К. Манн. На повороте. Жизнеописание. М., 1991, с. 346.

мирно известным композитором. Фрак превращается в синоним светской жизни, тех норм и условностей, которые причиняют ему постоянные страдания и за которые он платит в романе такую высокую цену.

Итак, Манн не даёт в «Патетической симфонии» подробного описания внешности протагониста, подобно тому, как это делает Франц Верфель (*Franz Werfel*) в своём романе «Верди». Тем не менее, оба портрета сближает неопределяемость социального статуса по внешнему облику. Если Чайковский объединяет в себе черты князя и богатого крестьянина, то черты лица Верди придают ему «то улыбку крестьянина [...], то дерзкий взор отважного корсара; но чаще всего — спокойствие знатного человека» (26). Внешняя неопределённость их статусов вполне соответствует их внутренним метаниям по поводу собственной идентичности, в первую очередь в музыке, что занимает одно из важных мест в проблематике обоих романов. Ещё один общий момент заключается в важности глаз, которые и в том, и в другом романе становятся лейтмотивом. «Спокойные, очень синие, чуть влажные глаза, взгляд которых как будто вернулся из блужданий в далях... Эти смелые, рассеянно-мечтательные глаза» (26) Верди и «необычайно проницательный взгляд» (9) Чайковского похожи друг на друга минорной тональностью, но как лейтмотивы они имеют совершенно разные функции. У Верфеля мотив перекрещивающихся взглядов выражает в первую очередь антагонизм двух композиторов — Верди и Вагнера, двух музыкальных школ — итальянской и немецкой[21], а также усиленный интеллектуальный поиск своего в чужом, попытку сближения. В «Патетической симфонии» взгляд главного героя, вся выраженная в нём меланхолия и кротость — сигналы его внутреннего мира, свойства его больной души, нашедшие отражение в музыке, полной меланхолической грусти и тяги к запредельному.

Суицидные наклонности писателя проявились в романе в полной мере на уровне развивающегося лейтмотива смерти как

[21] В немецкой литературе диалог двух музыкальных культур занимает значительное место, особенно в творчестве романтиков, прежде всего Э. Т. А. Гофмана. В двадцатом веке эту тему подхватывают Верфель и Т. Манн.

следования сыновнему долгу. Выше уже указывалось, что писатель использует в романе версию преднамеренного заражения холерой матери Чайковского, которое повторяется в финале уже самим Чайковским. Это, в свою очередь, соответствует его убеждению «Ты должен во всём следовать матери». Такое копирование её поступков находит своё объяснение и в биографии композитора, и в трудах Фрейда. В романе этот комплекс представлен в снах героя, где мать представляется ему в виде ангела смерти, призывающего следовать за собой. Этот образ трансформируется от сновидения к сновидению и сливается с обликом любимого племянника: «Владимир и мать стали одним. Красота матери и привлекательность мальчика сошлись в эфебической, уже не женской и уже не мужской фигуре» (255). Можно говорить о развивающемся лейтмотиве в вагнеровском понимании, который достигает своей трагической кульминации в сцене смерти Чайковского: «В экстатическом смятении [...] он называл смерть своей матерью, свою мать — сыном, своего сына — возлюбленным, своего возлюбленного чёрным ангелом — казалось, что неистовствующий был в дикой решимости призвать его к кровосмесительному, смертельному соитию на своём ложе» (313).

Этим лейтмотивом психоаналитический уровень поэтики образа главного героя не исчерпывается. Его другой аспект связан с феноменом сублимации как преобразованием нереализованной сексуальной энергии в творческую, результатом чего может стать создание гениальных произведений. Собственное искусство воспринимается героем как миссия (*Auftrag*), данная художнику свыше и обрекающая его на страдания в земной жизни, сопровождаемые взлётом таланта. Приступив к «Патетической симфонии», Чайковский чувствует, что часы его земной жизни уже, наконец, сочтены, и он скоро вновь обретёт свою любимую мать. Сигналом к этому служит также необъяснимая пропажа ценных часов, подарка Надежды фон Мекк, служивших Чайковскому на протяжении долгих лет талисманом. Написав симфонию, ставшую его реквиемом, он выполняет свою духовную миссию и идёт навстречу долгожданному избавлению, которое находит в стакане воды. Такого рода финал не был художественным открытием Манна.

Акцент, который делают немецкие романисты двадцатого века на итоговом произведении своих героев, имеет принципиально новое культурологическое содержание. Оно обусловлено не столько особенностями литературного процесса, сколько ходом самой истории европейской цивилизации, развязавшей две самые кровопролитные войны, приведшие к власти диктаторские режимы в разных странах и ставшей причиной гибели десятков миллионов людей. Итоговые музыкальные произведения в романе звучат приговором культуры самой себе.

Роман «Патетическая симфония» был задуман как произведение об ушедшей эпохе девятнадцатого века, изображаемой как очень противоречивое время, в котором жили и творили противоречивые художники — включая Чайковского. Его образ получает типическое осмысление как героя своего времени, одного из череды многих, определяющих собой лицо эпохи: «Но и то, о чём наш брат должен петь в свои лучшие мгновения — это всего лишь тоска по небу — ничего больше... Возможно, это небольшое утешение, что никто из тех, кто живёт сегодня, никто из современников не имеет ничего большего, чем только эту тоску, да и ту — в лучшие мгновения. Потому что все мы позднорожденные и проблематичные; и все мы страдаем от одной и той же моральной ущербности. Никому из нас не следует разыгрывать из себя “маэстро”, “классика” и “совершенного композитора”» (206), — говорит Чайковский в разговоре с племянником.

В дальнейшем размышления о девятнадцатом веке встречаются и в авторском комментарии, где писатель обращается вновь к образам «поздних классиков Европы», «проблематичных великанов», «каждый из которых имеет свой изъян, своё больное место, при всём своём величии и мощи» (246). Он называет их «полком великих индивидуумов», «сомнительными величинами», (247), которые помимо почтения вызывают жалость. Но эта жалость не унижает их достоинства, они остаются героями и несут бремя своего призвания честно и до конца. К таким же героям относится и Верди из романа Верфеля, чьи постоянные сомнения и комплексы напоминают Чайковского. Фигуры Верди и Чайковского становятся художественным воплощением

конца буржуазной цивилизации, её персонификацией. Они — ключи к другой трагедии, к катастрофе европейского гуманизма двадцатого века, воплощённой в музыке Адриана Леверкюна, Густава Аниаса Хорна и Зигфрида Пфаффрата[22].

Несмотря на трагизм финала, Клаус Манн не создаёт в романе ощущения глубокой трагедии. Во многом это объясняет сознательный выбор слишком человеческого Чайковского, далёкого от таких титанов как Моцарт или Людвиг ван Бетховен (*Ludwig van Beethoven*). Музыка Чайковского соединяет в себе русский напев и немецкие три четверти такта в сентиментальном вальсе, который рефреном проходит через всю его жизнь, становясь квинтэссенцией романа.

Герман Кестен назвал историю Чайковского «несостоявшейся трагедией» (unreife Tragödie)[23]. Этому способствовал и слишком мягкий тон повествования. Томас Манн, который упрекнул роман в отсутствии значительности, словно предрёк собственную критику в «Тонио Крёгере», где главный герой говорит: «Если то, что вы хотите сказать, затрагивает вас за живое, заставляет слишком горячо биться ваше сердце, вам обеспечен полный провал. Вы впадете в патетику, в сентиментальность, и из ваших рук выйдет нечто тяжеловесно-неуклюжее, нестройное, безыронически-пресное, банально-унылое»[24]. Клаус Манн не смог бы написать по-другому. Ему не была дана эпически-ироническая отстранённость своего отца. И патетическая симфония превращается в романе в сентиментальный вальс — но это не обесценивает достоинств всего романа как документированной эпохи, в чьём зеркале отражается автор и его черты.

Несмотря на сочетание многих элементов в поэтике образа главного героя, всё сводится, в конечном итоге, к двум основным частям — истории и психоанализу. Это одна из формул немецкого романа 1930–40-х годов, постулированная Томасом Манном в «Иосифе и его братьях» как синтез мифа и психологии. В отличие от Верфеля, Роберта Музиля и Т. Манна,

[22] Герои «Доктора Фаустуса» Т. Манна, «Реки без берегов» Х. Х. Янна и «Смерти в Риме» Вольфганга Кёппена.

[23] Письмо Г. Кестена К. Манну. См.выше, с. 237.

[24] Т. Манн «Смерть в Венеции» и другие новеллы. С.-Пб., 1997, с. 75.

«вторгавшихся в сферу сверхчувственного критически и трезво»[25], Клаус Манн проецировал собственное «я» на изображаемый им исторический материал, тем самым оживляя прошлое и интимизируя его. Этим достигается эффект почти полной идентичности автора и героя на уровне мировосприятия при сохранении дистанции между ними на уровне мировоззрения. Автор акцентирует в образе Чайковского психопатологическое начало, что объясняется, во-первых, склонностью Манна к суициду, а во-вторых, его замыслом изобразить эпоху «проблематичных великанов», «полугениев» второй половины девятнадцатого века, эпохи Ницше. Эпохи, которая подготовила кризис европейской буржуазной культуры рубежа веков и её полный крах в годы двух мировых войн, что связывает замысел Клауса Манна с более ранним романом «Верди» и перекидывает мостик к романному творчеству Томаса Манна, прежде всего к «Доктору Фаустусу».

О значении «Патетической симфонии» в творчестве Клауса Манна можно судить не столько по положительным откликам современников, сколько по оценке собственного творения самим автором. Манн довольно много рефлектировал во время написания романа, да и после выхода книги. Судьба протагониста была настолько близка ему, что роман воспринимался им скорее как исповедь, чем отвлечённая биография композитора, подобных которой в то время писались сотни. 13 июля, незадолго до завершения работы над «Патетической симфонией», Манн отметил в своём дневнике: ««Чайковский» — это автобиографическая книга. Несомненно, моя лучшая»[26]. В письме к сестре Монике звучит та же мысль: «Странно, как много из своей жизни я смог вместить в жизнь моего трогательного Петра Ильича»[27]. Подобную идею он развивает и в написанной им аннотации к роману о Чайковском, так и не напечатанной: «Когда я писал, у меня было ощущение совершенной близости к нему»[28]. Даже в аннотации к роману «Мефистофель» (1936),

[25] Э. Хильшер. Поэтические картины мира. М., 1979, с. 151.
[26] Schaenzler N. K. Mann. *Eine Biographie.* Frankfurt/Main-New York, 1999, S. 244.
[27] Там же, S. 244–245.
[28] Mann K. *Zahnärzte und Künstler*... Reinbek, 1993, S. 379.

своему лучшему роману, Манн не забывает написать о Чайковском: «Вся его боль — и преодоление её творчеством — тема этого произведения, которое я писал с бóльшим участием, чем какую-либо другую из моих книг»[29]. В вышедшей в 1942-м году на английском языке в нью-йоркском издательстве *Fisher* автобиографии Клауса Манна «На повороте» (*The Turning Point*, в немецком переводе *Der Wendepunkt*) говорится: «Я избрал этого героя, потому что люблю его и знаю его: я знаю о нём всё... Его нервозное беспокойство, его комплексы и его экстазы, его страх и его взлёты, почти невыносимое одиночество, в котором ему приходилось жить, боль, которая вновь и вновь хочет превратиться в мелодию, в красоту, — я мог всё это описать, ничто из этого не было мне чуждо»[30].

Завершая разговор, следует ещё раз подчеркнуть, что роман о Чайковском выделяется на фоне других романов Клауса Манна тем, что внешне не затрагивает злободневных тем, не поднимает острых политических вопросов, не полемизирует с «официальной» литературой и не призывает ни к чему «подпольную» эмигрантскую литературу. Такой уход от забот и тревог дней насущных мог бы быть понятен, будь это Манн-старший, Герман Гессе (*Hermann Hesse*) или Ханс Хенни Янн (*Hans Henny Jahnn*). Клаус Манн никогда не относился к тем писателям, которые играли в бисер на волшебной горе. Его проза была подчёркнуто прямолинейна и политически чётко окрашена, что, возможно, в чём-то умаляло её художественные достоинства. По степени публицистичности прозы Манн наиболее близок Лиону Фейхвангеру (*Lion Feuchtwanger*) или Арнольду Цвейгу (*Arnold Zweig*). Тем не менее, Клаус Манн сознательно уходит от современности в историю. Но аполитичность и неактуальность романа — только кажущиеся на первый взгляд вещи. Сквозь реалии ушедшего века проглядывают черты окружающей писателя действительности. Писателя привлекает не только проблематичность самого героя, но и проблематичность времени, в которое он живёт, его заражённость и обречённость. Клаус Манн увидел непосредственную связь современной ему катастрофы

[29] Там же, S. 407–408.

[30] К. Манн. На повороте. Жизнеописание. М., 1991, с. 375.

гуманизма с плодами «проблематичного» девятнадцатого века, с его надломленностью и экстравагантностью. Чайковский — только симптом этого уходящего века. Поэтому писатель с таким тщанием воссоздал на страницах романа образ того столетия, которое могло показаться современнику автора золотым веком, — и чем он, конечно же, не был.

Роман «Патетическая симфония» можно считать типичным нетипичным романом Клауса Манна, сохраняющим при своей нетрадиционности характерные черты стиля писателя. Отрадно, что в 2010-м году наконец-то вышел русский перевод этого романа[31], а в 2015-м — его аудиоверсия.

[31] К. Манн, Петр Ильич Чайковский: Патетическая симфония, перевод Ольги фон Лорингхофен. М., АСТ: Астрель ; Владимир: ВКТ, 2010.

Мария Шевцова

# О новозаветных мотивах в романе Владимира Набокова «Машенька»

Роман Владимира Набокова «Машенька» был опубликован в Берлине в 1926 году. Это был первый из восьми русских романов писателя, все они были написаны в Берлине, и образ города занимал там значительное место. Про «Машеньку» можно сказать, что это самый берлинский роман, свежие эмигрантские впечатления от Берлина 1920-х (звуки железной дороги, трамваи, торговки, немецкая бюрократия) описаны подробно. И в системе новозаветных образов, о которых пойдёт речь, Берлин занимает особое место.

Набоков не любил церковь и не был религиозным человеком. Это не может и не должно быть фактом его литературной биографии, так же как и религиозность писателя не должна интересовать критика априори. При этом преломление общеизвестных религиозных мотивов помогает проанализировать смысловую структуру образной системы творчества того или иного писателя. В этой статье мы постараемся понять роль и функцию новозаветных ссылок и реминисценций именно с этой точки зрения.

Первый роман Набокова написан под сильным влиянием Бунина, это признавали оба автора, которые в то время ещё общались. Естественно, что молодой писатель испытывал влияние более опытного литератора. Это можно назвать влиянием последнего классика русской литературы. Бунин чужд литературным экспериментам, и ту же «Машеньку» он, к примеру, ругает за употребление слова «интенсивный». Первый роман Набокова получился классическим, хотя и не вполне, и не только из-за «интенсивности». Но параллели между образом любимой женщины и образом страны более чем традиционны, Набоков снова и снова возвращается к этой теме и осмысляет её, а прощание с Машенькой стоит через запятую с прощанием с Россией.

Главный герой романа, молодой человек по имени Лев Глебович Ганин, прозябает в русском пансионе в Берлине. Он не работает, живёт на сбережения, крутит вялый роман с русской девушкой Людмилой, не имея сил порвать его, и страдает от общего отсутствия воли. По сути, Ганин существует, но не живёт. Жизнь просыпается в нём, когда он узнаёт, что в конце недели в пансион приезжает его первая любовь — Машенька, ныне жена его соседа по комнатам Подтягина. Ганин предаётся воспоминаниям, о чём Набоков пишет следующим образом: «Он был богом, воссоздающим погибший мир. Он постепенно воскрешал этот мир, в угоду женщине, которую он ещё не смел в него поместить, пока весь он не будет закончен». Набоков называет своего героя богом, сравнивая силу воображения и творчества с актом творения. Кажется, это обычная метафора. Но Набокову в целом свойственно ставить себя на равных с Богом, пытаться понять Творца и в каком-то смысле бросить Ему вызов. В поздних произведениях он возвращается к этой теме. Например, в романе «Дар» с образом Бога сравнивается отец героя, пропавший и не похороненный. Мистическая драма переживается как личная, что выглядит достаточно смело со стороны автора. Ещё более интересный образ рассказчика создаётся в рассказе «Озеро, облако, башня», о котором стоит сказать отдельно.

Рассказ начинается с того, что «один из моих представителей», то есть представителей автора, выигрывает увеселительную поездку за город. Кажется, что речь идёт о коммерческом представителе, обычном человеке по имени Василий Иванович. Но история вдруг оборачивается фантасмагорией, увеселительная поездка — *приглашением на казнь*, а Василий Иванович и автор — мистическими персонажами. Оказывается, что отказаться от увеселительной поездки нельзя и сойти с пути — тоже. Василий Иванович пытается это сделать и наталкивается на полное непонимание. Компания, в которой он едет в путешествие, изощрённо издевается над ним. «Придумали, между прочим, буравить ему штопором ладонь, потом ступню», — пишет Набоков, проводя очевидные параллели с крестными страданиями Христа.

В финале этот странный персонаж с царским именем приходит к автору и жалуется, что «принуждён отказаться от

должности, умолял отпустить, говорил, что больше не может, что сил больше нет быть человеком». Автор заканчивает рассказ словами: «Я его отпустил, разумеется».

Кто же он, если сил быть человеком у него больше нет, и при этом ему только что проткнули ступни и ладони? И следующий вопрос — кто же автор? Набоков не говорит об этом, но понятно, что традиционной религиозной мысли он бросает вызов: Бог не отпустил Своего сына, а я — отпустил, «разумеется».

Вернёмся к «Машеньке».

Действие романа начинается в понедельник и заканчивается в субботу. В пятницу жильцы пансиона организовывают вечеринку, во время которого Ганин поит Подтягина, желая сделать невозможной встречу супругов на вокзале. Праздничный ужин происходит в столовой пансиона под литографической «Тайной вечерей», которая висит здесь на стене, как указывает автор, прямо ссылаясь на другой известный ужин. Вся описанная неделя оказывается судьбоносной, как и страстная.

Героев в романе двенадцать: шесть обитателей пансиона (Ганин, Подтягин, Алфёров, Клара, Колин и Горноцветов), хозяйка Лидия Дорн, кухарка Эрика, поэт Куницын, заходящий в гости к Подтягину, а также Людмила. Машенька является Ганину в воспоминаниях в сопровождении двух неприметных подруг, у которых потом появляются имена: «В этой беседке двадцатого июня Машенька, Лида и Нина пережидали грозу». Итого в романе названо двенадцать героев. Машенька — тринадцатая.

Машенька-Россия становится тринадцатым участником тайной вечери, символизируя Христа. Её, как и Христа, предают: Ганин передумал встретить Машеньку на вокзале и увезти её. Тайная вечеря, висящая в столовой, с одной стороны, придаёт столовой черты монашеской трапезной, с другой стороны, сюжет говорит о причастии, то есть о согласии разделить крестный путь Христа, и о предательстве.

Символически можно говорить о причастии как об участии в судьбе России (попытка борьбы, которые планировал Ганин, когда собирался поехать в Петербург по подложному паспорту и поднять восстание) и в судьбе Машеньки (планы встретить её на вокзале, увезти, разделить её жизнь). Ганин отказывается как от одного, так и от другого плана — он совер-

шает предательство. Но Набоков оправдывает Ганина, констатирует, что прошлого не вернуть, страну не изменить, любви не возвратить. Это очевидная банальность, в которой нет ничего сверхъестественного, но переклички с предательством в Новом завете делают историю трагической. Набоков принимает эту историю стоически, и это отнюдь не означает равнодушие, он не ищет в прошлом оправдания своего существования.

Невозможность причастия/участия в реальной жизни подтверждается Подтягиным. Он мечтает о Париже, «где очень дёшевы длинные хрустящие булки и красное вино» — что это, если не символ причастия в христианской традиции? Подтягин стремится в Париж и как бы стремится к жизни, которая невозможна в Берлине. В другом месте он говорит, что Берлин прямая линия, во Франции — хоть какой-то изгиб, а Россия — загогулина. В России возможна полноценная и подлинная жизнь, и в ней можно участвовать, а в Берлине она совершенно отсутствует.

Берлин в романе — место казни, место, где никакая жизнь невозможна. В Берлине реальном погибает отец Набокова, Бог из романа «Дар». Город беспощаден к жизни, её нельзя воссоздать там, оттуда можно только уехать, и Ганин уезжает.

Русская литература осмысляет любовь к родине и любовь к женщине как служение, сравнимое со служением Богу. Набоков черпает из этого источника смыслы и образы, но их ломает сильная боль от утраты и унижения, а также неприятная честность, с которой писатель смотрит на действительность. Набоков разумно не признаёт вины своего класса в том, что произошло с его родиной, и единственный выход — бросить старое и забыть. Такая позиция может казаться следствием холодного сердца, но холод позволяет ему законсервировать и сберечь себя. В отстранённости писатель сохраняет способность к чувствам и нежности.

Ганин оставляет Машеньку и своё прошлое, и идёт дальше. Как и его герой, Набоков отказывается от прошлого, не пытается возродить утерянное, опирается не на авторитет и традицию, а на себя. Крайний индивидуализм писателя становится залогом его свободы. Используя религиозные образы, Набоков переосмысляет привычные формулы любви и предательства, сомневается в само́й основе жизни, но для жизни, ставшей похожей на дурной сон, такой взгляд становится адекватным.

Мария Жигалова

# Германия в судьбе и творчестве Марины Цветаевой[1]

*Моим стихам, как драгоценным винам,*
*Настанет свой черёд.*
*М. Цветаева*

Марина Ивановна Цветаева (1892–1941) — великая трагическая поэтесса двадцатого века — при жизни была почти неизвестна массовому читателю. Воспитывалась она в высококультурной семье: отец Иван Владимирович — филолог и искусствовед, профессор Московского университета, директор Румянцевского музея — вошёл в историю русской культуры как основатель Музея изящных искусств (ныне Музей изобразительных искусств имени Пушкина). Мать Мария Александровна, урождённая Мейн, была тонкой и одарённой натурой. Талантливая пианистка, знающая иностранные языки, она происходила из польско-немецкого рода. Поэтому любовью к Германии и был пропитан весь дух семьи. Мать много рассказывала детям о своём отечестве, читала по-немецки старинные сказки, легенды, особенно любила вечерами читать вслух роман «Лихтенштейн» Вильгельма Гауфа (*Wilhelm Hauff*). Любовь матери к Германии передалась и детям. Мария Александровна поселила с детства в душе Марины привязанность к своей «прародине».

Мария была ближайшим сотрудником мужа и в деле создания музея. Вот как вспоминает Цветаева в своей автобиографической прозе «Отец и его музей» (глава 1, «Рождение музея»): «Она вела всю его обширную иностранную переписку и, часто, заочным красноречием своим, какой-то особой грацией шутки и

[1] В статье автор использовал некоторые материалы, взятые из своей книги: М. П. Жигалова, Германия в судьбе и творчестве русских поэтов-эмигрантов XX века. Интерпретация и анализ: теория и методика. Монография. *LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH&CO.KG*. Берлин, Германия, 2011. 305 с.

лести (с французом), строкой из поэта (с англичанином), каким-нибудь вопросом о детях и саде (с немцем) — той человеческой нотой в деловом письме, личной — в официальном, иногда же просто удачным словесным оборотом, сразу добивалась того, чего бы с трудом и совсем иначе добился мой отец»[2].

Марина вместе с родителями (сначала только с матерью; отец приехал в Германию в 1905-м на Рождество) и младшей сестрой выехали в 1902 году за границу, сначала в генуэзский Нерви, потом в Лозанну, а затем во Фрейбург.

Осенью 1904 года семья Цветаевых жила в Германии. Здесь все вместе, включая младшую дочь Анастасию, они останавливались в деревне Лангаккерн (*Langackern*) за Фрейбургом, в горах Шварцвальда. Гостиница «Ангел» — она и сегодня стоит на том же месте, окружённом теми же лесами, горами, деревнями.

...Марина влюбилась в Шварцвальд, иначе и не могло быть, ведь Германия — её прародина: мать внушила ей свою восторженную любовь к этой стране. Эта любовь жила в душе Марины, но, может быть, только в Шварцвальде проснулась по-настоящему. «Как я любила — с тоской любила! до безумия любила! — Шварцвальд, — вспоминала она в 1919 году среди голода и разрухи. — Золотистые долины, гулкие, грозно уютные леса, — не говорю уже о деревне, с надписями на харчевенных щитах *Zum Adler Zum Löwen*»[3]...

Марина и Анастасия жили и учились в немецком пансионе, принадлежащем Паулине и Энни Бринск. Климат Шварцвальда, как все надеялись, должен был поправить здоровье матери девочек Марии Александровны. Однако в конце 1904-го года она простудилась, у неё обострился туберкулёзный процесс; она легла в санаторий, отец уехал в Москву, а дети до весны 1905 года остались в пансионе. Мать здесь, когда позволяло здоровье, по поручению мужа ездила в поисках экспонатов по старым городкам Германии, с которой Иван Владимирович был особенно связан.

К одиннадцати годам и Марина уже тоже втянулась в работу, а именно — писала отцу его немецкие письма. «Отец языки знал отлично, но, как самоучка, и пиша и говоря, именно пере-

[2] М. Цветаева, Избранные произведения. Минск: Наука и техника, 1984. С. 640.
[3] В. А. Швейцер, Быт и бытие Марины Цветаевой. М., 1992. С. 51.

водил с русского. Кроме итальянского, который знал как родной и на котором долгие годы молодости читал лекции в Болонском университете <...> Зато, какое сияние гордости, когда в ответном письме за таким-то № в конце приписка: «*Grüßen Sie von mir ihr liebenswürdiges und pflichttreues Töchterlein*»[4] [5], — писала Цветаева.

«Девочка не любила какой бы то ни было навязанной необходимости, начиная с заграничных пансионов 1902—1905 гг. (Италия, Швейцария, Германия)»[6], — пишет исследователь жизни и творчества поэта Анна Саакянц. Режим и учение в них она претерпевала с неохотой. Однако немецкий и французский изучала с удовольствием: языки открывали ей новые пути в мир книг. Музыкой Марина занималась исключительно ради матери, которую она горячо любила. Вот что пишет двенадцатилетняя Марина Цветаева в мае 1905 года из немецкого пансиона матери в санаторий, где её тщетно лечили от туберкулёза: «Дорогая мама, вчера получили мы твою милую славную карточку. Сердечное за неё спасибо! Как мы рады, что тебе лучше, дорогая, ну вот, видишь, Бог помог тебе. Даю тебе честное слово, дорогая мамочка, что я, наверное, знала, что — тебе будет лучше, и видишь, я не ошиблась!.. Как я рада, что тебе лучше, родная. Знаешь, мне купили платье (летнее). У меня только оно и есть для лета. *Fräulein Brinsk* находит, что я должна иметь ещё одно платье. Крепко целую! Муся»[7].

Жизнь дарила Марине радость, добро, любовь, волшебство книжных открытий и человеческих встреч, и, казалось, прекрасный путь этот неизменно бесконечен. Был он прерван трагическими событиями — смертью матери в 1906 году, несчастьями, обрушившимися на отца (травля со стороны властей, пожар в музее), умершего семь лет спустя...

Но тогда, летом 1909-го, когда Цветаева с отцом и младшей сестрой уехали в Германию, Марине было уже почти шестнадцать, а её сестре Асе — четырнадцать. Вот каким она увидела

---

[4] Передайте от меня привет Вашей милой и добросовестной дочурке (здесь и далее нем.).

[5] М. Цветаева, Избранные произведения. Минск: Наука и техника. 1984. С. 641.

[6] А. Саакянц, Марина Цветаева. Жизнь и творчество. М.: Эллис Лак. 1997. С. 9.

[7] Там же. С. 10.

Шарлоттенбург: «Это городок близ Берлина. Знойное время дня и года. Водопады, потоки, обвалы солнца. Устрашающая девическая мода тех лет: длинные юбки, длинные рукава, тиски обшлагов и пройм, капканы воротников. Не платья — тюрьмы! Чёрные чулки, чёрные башмаки. Ноги чёрные!.. Шарлоттенбург, казалось, вымер начисто. Ставни закрыты. Вокруг — ни собаки <...> Склады гипсовых слепков и мраморных подлинников. Статуи, статуи, статуи... Довольные, мы с отцом покидаем заколдованное царство»[8].

Однако будущее виделось ей туманно. Позже она об этом написала:

Сильнее гул, как будто выше — зданья,
В последний раз колеблется вагон,
В последний раз... Мы едем... До свиданья,
Мой зимний сон!..
...
Что новый край? Везде борьба со скукой,
Всё тот же смех и блёстки тех же звёзд.
И там, как здесь, мне будет сладкой мукой
Твой тихий жест.

*«Привет из вагона»*, 9 июня 1910

Лето в Германии, в маленьком городке Вайсер Хирш (*Weißer Hirsch*) под Дрезденом, Марина и Ася проводили в семье пастора, в то время как Иван Владимирович работал в хранилищах Берлина и Дрездена, собирая экспонаты для своего будущего музея на Волхонке. О жизни в семье пастора Цветаева написала позже в автобиографическом рассказе «Башня в плюще» (1933).

Всё это отразилось и на её разноликом творчестве: книгах лирических стихов, семнадцати поэмах, восьми стихотворных драмах, автобиографической, мемуарной, историко-литературной прозе.

Произведения Марины Цветаевой построены на культурологическом материале и иноязычных элементах, и потому её художественные произведения являются своего рода межкуль-

[8] М. Цветаева, Избранные произведения. Минск: Наука и техника, 1984. С. 646, 648.

турным медиатором — то есть посредником между культурой, отражённой в произведении; культурой автора и его героев; культурой того социума, в котором живут и действуют герои и сам автор; а также между культурой читателя. Иноязычные элементы (в первую очередь немецкие, французские, чешские) как бы вступают в диалог с читателем. И действительно, диалог языков в поэзии Цветаевой свидетельствует о стремлении автора «собрать расколотый на полюса противоречивый мир в одно единое, целое, а значит, дать читателю истинное знание о мире»[9]. Иноязычные элементы играют особую роль в постижении ими чужой и в то же время родной ей немецкой культуры, потому что немецкий язык и немецкая культура, как и польская, вошли в душу и кровь Цветаевой. Она и сама позже признавалась в этом: «Во мне много душ. Но главная моя душа — германская»[10].

Не менее значимо и написанное ею в 1927 году в Париже стихотворение «Новогоднее». Его понимание немыслимо вне контекста немецкого языка — языка эпистолярия Цветаевой и Райнера Марии Рильке (*Rainer Maria Rilke*). Продлившаяся всего полгода переписка поэтов на немецком языке хронологически предшествовала появлению «Новогоднего» и во многом предзнаменовала используемую в нём тематику, систему образов и собственно языковую ткань. Источником русского текста послужил не только его немецкоязычный адресат, Рильке, но и сам немецкий язык. Думается, что, называя стихотворение «Новогоднее» «итоговым произведением не только в её творчестве, но и для русской поэзии в целом», Иосиф Бродский, вероятно, имел в виду нечто большее, чем просто межъязыковой диалог, обогащающий стихотворение новыми смыслами, но в целом не ставший новым явлением в литературе[11]. Скорее всего, речь идёт об «ангельском» языке, который со смертью Рильке (а именно этому событию и посвящено стихотворение) стал для Цветаевой родней и русского, и немецкого:

---

[9] Я. Клотц, Для поэта нет родней языка: о «всеязычии» в поэзии Цветаевой и Бродского. В кн.: Русская культура в Европе. *Russian Literature in Europe. Fedor B. Poljakov* (*Vienna*).Vol.3. *Peterland internationaler Verlag der Wissenschaften,* 2008. С. 436.

[10] В. А. Швейцер, Быт и бытие Марины Цветаевой, 1992. С. 51.

[11] Я. Клотц, Для поэта нет родней языка: о «всеязычии» в поэзии Цветаевой и Бродского... С. 247–263.

Каждый помысел, любой, *Du Lieber*[12],
Слог в тебя ведёт — о чём бы ни был
Толк (пусть русского родней немецкий
Мне, — всех ангельский родней!)[13]...

Язык возводится Цветаевой в абсолют, возвращается к своим истокам, уводя за собой поэта. Иноязычные элементы в поэзии Цветаевой явились той основой, которая помогла ей проникать в другие культуры и постигать их, а вместе с ними постигать себя, мир, так до конца никем и не разгаданный. И немецкий язык, как и Германия, вошли в душу и кровь Марины Цветаевой.

Среди всего, созданного поэтом, особое место занимают произведения, посвящённые Германии. В конце 1914-го года Марина Цветаева написала стихотворение, которое так и называется — «Германии». Его можно рассматривать и как вызов социуму, и в то же время как признание в любви своему *Vaterland*[14]. Вопреки тому, что в тот момент шла война, она пишет восторженное славословие Германии — стране романтики, стране Канта и Гёте, всё остальное для неё не имеет значения.

Стихотворение «Германии» также содержит иноязычные элементы, которые дают возможность читателю выявить пути постижения Цветаевой немецкой культуры, определить своё отношение к ней.

Ты миру отдана на травлю,
И счёта нет твоим врагам!
Ну, как же я тебя оставлю?
Ну, как же я тебя предам?

И где возьму благоразумье:
«За око — око, кровь — за кровь!», —
Германия — моё безумье!
Германия — моя любовь!

[12] Милый.
[13] М. Цветаева. Соч. в 7 томах. М., 1994. Т.3. С. 133.
[14] Родине.

Ну, как же я тебя отвергну,
Мой столь гонимый *Vaterland*,
Где всё ещё по Кёнигсбергу
Проходит узколицый Кант,

Где Фауста нового лелея,
В другом забытом городке, —
*Geheimrath Goethe*[15] по аллее
Проходит с веточкой в руке.

Ну, как же я тебя покину,
Моя германская звезда,
Когда любить наполовину
Я не научена, — когда —

От песенок твоих в восторге,
Не слышу лейтенантских шпор,
Когда мне свят святой Георгий
Во Фрейбурге, на *Schwabenthor*[16].

Когда меня не душит злоба
На Кайзера взлетевший ус, —
Когда в влюблённости до гроба
Тебе, Германия, клянусь!

Нет ни волшебней, ни премудрей
Тебя, благоуханный край,
Где чешет золотые кудри
Над вечным Рейном — Лорелей[17].

Это стихотворение было написано в то время, когда шла война России с Германией. Цветаева остро и обречённо чувствует гибель всего, что ей дорого, без чего она уже не представляет свою жизнь. Читая «Германии», не оставляет чувство гордости

[15] Тайный советник Гёте.

[16] Площадь во Фрейбурге.

[17] По-немецки это слово произносится как «Лореляй», что его рифмует со словом «край» (прим. ред.).

за лирическую героиню, которая умеет ценить прародину своих предков. Уже в первой строке звучит её обеспокоенность судьбой дорогой ей Германии.

В почёте стихи патриотические. Но стихи, воспевающие Германию?.. Цветаева читает оду Германии, в которой клянётся ей в любви. И это неслучайно. Для Цветаевой здесь первостепенны две детали. Первая — что в её жилах течёт и немецкая кровь. Вторая заключается в том, что «травля» Германии в русской печати означала для Марины не только нападки на кровно близкое начало, но, прежде всего, отвержение общеевропейской культуры, с чем она согласиться, разумеется, не могла. Кроме того, с детства, начиная с осознания смешения многих кровей в ней самой — русской, польской, немецкой — она несла гордое презрение к любым видам национализма и шовинизма.

Травля, бесчисленные враги, предательство тех, кого Германия вскормила, кого лелеяла, — всё это убеждает лирическую героиню в правильности принятого ею решения — ни «оставить», ни «предать» свою вторую родину она не сможет. Конечно, героиня понимает, что сделать это будет нелегко, но другого отношения к ней проявить она не сможет, да и не желает.

Вместе с тем, лирическая героиня уверена, что её любовь к Германии не должна сопровождаться местью к её врагам, так как «за око — око, кровь — за кровь!» — это удел слабых. Она же — сильная, а это значит, что, реально оценивая достоинства и недостатки Германии, она понимает, что любовь к ней соединяет в себе не только слепое поклонение, но и критическую оценку действительности. Поэтому любовь к Германии — это и «безумье»! Так как любить то, что все осуждают, что отдано на травлю миру, а значит, беззащитно, вдвойне тяжело и часто даже опасно. И, тем не менее, лирическая героиня не может отвергнуть «мой столь гонимый *Vaterland*», так как уверена в другом — любить Германию есть за что. Это и её культура (незабываемый «Фауст», Швабские ворота, песни, природа), народ с его педантизмом и мудростью жизни, её история, удивительная природа (вечный Рейн). Неудивительно, что Цветаева наделяет Германию такими тёплыми эпитетами, как «благоуханный край», «германская звезда», «волшебный край», «премудрый край» и другими, свидетельствующими о её неподдельном и искреннем чувстве.

Поэтому тема стихотворения — признание в любви. Лирическая героиня осмысливает всю сложность положения Германии, но ни оставить, ни предать, ни безумно мстить её врагам, ни отвергнуть, ни «покинуть» свою «германскую звезду», она не в силах. Любовь лирической героини к Германии настолько сильна, что, будучи в восторге от песенок, она не слышит «лейтенантских шпор», «её не душит злоба на кайзера взлетевший ус». Она не хочет всего этого замечать, так как понимает, что любовь её — чувство постоянное, потому что родину «любить наполовину» лирическая героиня не научена. И, может быть, потому её клятва («Когда в влюблённости до гроба / Тебе, Германия, клянусь») звучит как гимн Германии, где «чешет золотые кудри / Над вечным Рейном — Лорелей».

Тревога за судьбу свою и Германии (а для лирической героини, как и для самой Цветаевой, они слиты воедино!) постепенно усиливается, нарастает. Оставить? Предать? Отвергнуть? Покинуть? — этому она не научена. «Любить наполовину» — это не для неё. Поэтому ответы на вопросы-сомнения утвердительны: «Я — остаюсь». Остаюсь здесь, хотя и понимаю, что здесь тоже не всё так безоблачно и легко. Остаюсь здесь, потому что это родина моих предков. Остаюсь здесь, потому что люблю этот «волшебный, премудрый, благоуханный край». Остаюсь, потому что жизни без Германии не мыслю. Остаюсь, потому что своей этнической родине я не нужна.

Ключевые и доминантные слова в каждой строфе лишь усиливают чувство верности и преданности: *возьму благоразумье*, *безумье*, *любовь*, *не душит злоба*, *влюблённость до гроба*, *клянусь*.

Топонимы и антропонимы (Германия, Кёнигсберг, Фрейбург, Рейн, Кант, Георгий, кайзер, Лорелея, Гёте и другие) не только конкретизируют пространственно-временные рамки, но и говорят о значимости тех вечных человеческих ценностей, какими определяется сущность любого государства: философия жизни в нём (Кант), вера (Святой Георгий), власть (кайзер) и красота (Гёте, Лорелея). Эти составляющие и сегодня, как барометр, определяют нравственность, мораль, а значит, и прочность любого государства, как и уровень отношения к нему соотечественников, по воле судьбы живущих в разных странах мира.

Если сопоставить стихотворение «Германии» 1914 года с одноимённым, написанным в 1939-м, проанализировать культурно-исторический фон и выделить лингвокультуроведческие, литературоведческие, общие и специфические, характеристики, то можно увидеть, что в эмоциях и чувствах Цветаевой произошли изменения[18]. Вслушаемся:

О, дева всех румянее
Среди зелёных гор —
Германия! Германия! Германия!
Позор!
Полкарты прикарманила,
Астральная душа!
Встарь — сказками туманила
Днесь — танками пошла.
Пред чешскою крестьянкою
Не опускаешь вежд,
Прокатываясь танками
По ржи её надежд?
Пред горестью безмерною
Сей маленькой страны,
Что чувствуете, Ге́рманны:
Германии сыны?
О, магия! О, мумия
Величия! Сгоришь,
Германия! Безумие! Безумие
Творишь!
С объятьями удавьими
Расправится силач!
За здравие, Моравия
Словакия, словачь!
В хрустальное подземие
Уйдя — готовь удар:
Богемия! Богемия! Богемия!
Наздар![19]

[18] Полный анализ стихотворения см. в книге: М. П. Жигалова, Германия в судьбе и творчестве русских поэтов-эмигрантов XX века (выходные данные см. прим. 1). С. 273–279.

[19] М. Цветаева, Стихотворения. Поэмы. М.: РИПОЛ Классик, 2008. С. 407.

Время написания стихотворения было самым тяжёлым и в жизни Цветаевой. Ностальгия, духовная изоляция, неопределённость положения, желание уехать в Россию, чувство обречённости — вот составляющие трагедии её жизни. Цветаева была всегда вне политики, но всегда осуждала насилие, жестокость, войну, которые несут человечеству горе и разочарование. Именно такому периоду и посвящено стихотворение «Германии» 1939 года, когда фашистская Германия во главе с Гитлером решила завоевать мир.

В результате соглашения, заключённого в сентябре 1938 года в Мюнхене Германией, Италией, Англией и Францией, Чехословакия была оккупирована и разделена на три части: Словакию, Моравию и Богемию. И потому отношение Марины к Германии как к прародине своих предков теперь уже не такое восторженное, как это было в первые годы её знакомства со страной. Не случайно поэт обращается к сынам Германии — «Германам», взывая к их чувствам, к их совести, призывая опомниться и не творить безумия, тем самым предостерегая их от мании величия, которая, затмевая рассудок, и приводит к трагедиям. Стихотворение написано в форме монолога-обращения, предостережения. Поэт, кажется, напоминает человечеству об ответственности, предупреждает о возмездии, которое наступит неминуемо. Эта мысль, легко угадываемая и прочитываемая в подтексте стихотворения, звучит и сегодня как наказ и предостережение потомкам, и легко дополняется ещё одним жизненным правилом — предупреждением от жадности и алчности, которые разрушают как отдельную личность, так и мирную жизнь, цивилизацию, ибо человек всегда ненасытен в своих материальных желаниях. Как тут не вспомнить Эрнеста Хемингуэя, который сказал: «Дайте человеку необходимое — и он захочет удобств. Обеспечьте его удобствами — он будет стремиться к роскоши. Осыпьте его роскошью — он начнет вздыхать по изысканному. Позвольте ему получить изысканное — и он возжаждет безумств. Одарите его всем, чего он ни пожелает, — и он будет жаловаться, что его обманули и что он получил совсем не то, что хотел»[20].

[20] Э. Хемингуэй, Кредо человека, эссе. Перевод В. Стоянова. Иностранная литература, №2/2000. Цит. по http://magazines.russ.ru/inostran/2000/2/heming.html.

Из написанного Мариной Цветаевой в Германии интерес представляет и стихотворение «Оба луча» (написано в городе Вайсер Хирш летом 1910 года)[21], которое помогает понять читателю сложность жизненного выбора.

Солнечный? Лунный? О мудрые Парки,
Что мне ответить? Ни воли, ни сил!
Луч серебристый молился, а яркий
Нежно любил.
Солнечный? Лунный? Напрасная битва!
Каждую искорку, сердце, лови!
В каждой молитве — любовь, и молитва
В каждой любви!
Знаю одно лишь: погашенных в плаче
Жалкая мне не заменит свеча.
Буду любить, не умея иначе —
Оба луча!

Первая строка и последняя составляют композиционное кольцо. Первая ставит перед читателем вопрос выбора (Солнечный? Лунный?), а последняя даёт уже готовый ответ (Оба луча!). Лирическая героиня уверена, что солнечный и лунный лучи идут в жизни всегда рядом. Солнце — это «тёплый» свет, луна — «холодный», но человек не может всю жизнь греться под одним солнцем. Лунный свет тоже имеет свою прелесть. Жизнь каждого из нас в этом мире — это смена радостей и печалей, удач и огорчений. Только такая жизнь будет гармоничной. Тема стихотворения — выбор и его значимость в жизни каждого человека. Идея — невозможность предпочтения одного другому, так как гармония может наступить лишь при наличии их обоих. В подтексте стихотворения угадывается глубокая жизненная философия: сделать выбор между сладостно манящей мечтой и действительностью очень сложно, а порой и мучительно.

[21] Полный анализ стихотворения см. в книге: М. П. Жигалова, Германия в судьбе и творчестве русских поэтов-эмигрантов XX века (выходные данные см. прим. 1). С. 279–283.

Цветаева обращает читателя к неизбежности выбора, вечного жизненно важного и значимого в судьбе каждого человека, выбора между светом и тьмой, добром и злом, призывая тем самым читателя к вечной гармонии жизни. Позже тема стихотворения — никогда не встречающихся солнца и луны — станет центральной в поэме «Царь-Девица» (1920).

Стихотворения «Германии», «В Люксембургском саду», «Оба луча», «Новогоднее», поэма «Царь-Девица», рассказы «Башня в плюще», «Шарлоттенбург» и другие — всё это создано в Германии и о Германии. Свой выбор Цветаева сделала, будучи ещё маленькой девочкой. Выбор был сделан сердцем, душой, который позже стал и её судьбой.

15 мая 1922 года. Марина Цветаева со своей малолетней дочерью Ариадной (Алей) опять оказалась в Германии. Они сошли на вокзале Берлин-Шарлоттенбург, сели на извозчика и поехали к Пражской площади (*Prager Platz*) в пансион *Prager Diele*, где их уже ожидала семья Ильи Эренбурга. Сюда в разное время приезжали, помимо Эренбурга, Андрей Белый, Алексей Ремизов, Виктор Шкловский, Алексей Толстой, Владислав Ходасевич, Нина Берберова и другие.

Благодаря стараниям Эренбурга в Берлине вышли две книги Цветаевой: «Стихи к Блоку» (издательство «Огоньки») и «Разлука» (издательство «Геликон»). Русские литераторы встретили Цветаеву за границей великолепно. А за неделю до её приезда в Берлин газета «Накануне» писала: «Марина Цветаева кровью и духом связана с нашими днями... Она — честна, беспощадна к себе, сурова к словам»[22]. Здесь, в Берлине, Цветаева выступала на вечере в «Доме искусств», а Андрей Белый познакомил её с рядом интереснейших людей. Среди них — Марк Слоним, литератор, сотрудник пражского журнала «Воля России», этот человек долгие годы был одним из самых верных и постоянных друзей Цветаевой; писатель Роман Гуль; Абрам Вишняк, издатель «Геликона», которым Марина увлеклась так сильно, что впоследствии её муж Сергей Эфрон с величайшей горечью написал, что, когда он приехал в Берлин, «костёр в душе Марины Ивановны был уже разожжён другим»[23].

[22] А. Саакянц, М. Цветаева. Жизнь и творчество. М.: Эллис Лак. 1997. С. 301.
[23] Там же. С. 302.

Палящее солнце, каменная мостовая, стук первых шагов торопящихся на работу жителей города — в такую гамму слилось у Цветаевой восприятие немецкой столицы лета 1922 года, о котором она 10 июля пишет в стихотворении «Берлину»[24]:

Дождь убаюкивает боль.
Под ливни опускающихся ставень
Сплю. Вздрагивающих асфальтов вдоль
Копыта — как рукоплесканья.
Поздравствовалось — и слилось.
В оставленности златозарной
Над сказочнейшим из сиротств
Вы смилостивились, казармы!

В Берлине для «Геликона» Цветаева подготовила книгу «Ремесло», а для издательства Зиновия Гржебина — книгу «Психея» (романтические стихи 1916–1921 годов). Встречи с Белым, жившим недалеко от Берлина, в городе Цоссене (*Zossen*), она позднее описала в мемуарах-реквиеме «Пленный дух». В них Цветаева создала непревзойдённый пока никем образ этого гениального человека, рассказала об их встречах в Берлине и о своём приезде в Цоссен жарким июньским днём 1922 года.

В это же время Цветаева написала Борису Пастернаку из Берлина: «Я в Берлине надолго, хотела ехать в Прагу, но там очень трудна внешняя жизнь. Здесь ни с кем не дружу, кроме Эренбургов, Белого и моего издателя Геликона... Здесь очень хорошо жить, не город (тот или иной) — безымянность — просторы!..»[25] Пастернак ответил Цветаевой 14 июня 1922 года: «Дорогая Марина Ивановна! Сейчас я с дрожью в голосе стал читать брату Ваше — «Знаю, умру на заре, на которой из двух...» и был как чужим, перебит волною подкатывавшегося, и когда я перевёл свои попытки с этого стихотворения на «Я расскажу тебе про великий обман» я был также точно Вами отброшен, и когда я перенёс их на «Вёрсты и вёрсты и чёрствый хлеб» — случилось

[24] Полный анализ стихотворения смотри в книге: М. П. Жигалова, Германия в судьбе и творчестве русских поэтов-эмигрантов XX века (выходные данные см. прим. 1). С. 283–285.

[25] А. Саакянц, М. Цветаева. Жизнь и творчество. М.: Эллис Лак. 1997. С. 311.

то же самое... Как странно и глупо кроится жизнь! Месяц назад я мог достать Вас со ста шагов и существовали уже «Вёрсты», и была на свете та книжная лавка в уровень с капелью без порога, куда сдала меня ленивая волна тёплого плавившегося асфальта... Итак — простите, простите!»

Заметим, что воспоминаний, рассказывающих о Цветаевой берлинского периода, почти не осталось: «Загорелое лицо, подстриженная чёлка, быстрый и умный взгляд, дешёвое платье, мужские ботинки, руки как у цыганки, в серебряных браслетах и кольцах; шаг — широкий; мало женственности»[26] — такой запомнил её Роман Гуль. Марина Цветаева любила беседы, прогулки, собеседницей — на самые разные темы — была интереснейшей. И первое время после её отъезда они с Гулем переписывались. Цветаева была с ним абсолютно откровенна и доверительна.

Но вскоре «...позади оставались: город (пусть бы и квартал!), к которому привыкла, цивилизованный пансионский быт и, что главное, — человеческие отношения (дружеские, лирические, деловые), которые — теряла. Предстоял словно обрыв в бездну, скачок в никуда»[27]. Впрочем, на вопрос, как, уезжая, себя чувствовала Марина Цветаева, ответила она сама: «колдовским» стихотворением без отдельного названия, являющим собою некую невнятицу житейской, потусторонней ворожбы, сквозь которую слышались прощание, прощение, одиночество, отрешение, усталость:

Леты слепотекущей всхлип:
Долг твой тебе отпущен: слит
С Летою, — еле-еле жив
В лепете сребротекущих ив.

И хотя последние строки, написанные ею в Берлине, были другие, это стихотворение Цветаева пометила 31 июля 1922 года, то есть последним днём пребывания в немецкой столице. Первого августа она была уже в Праге. И в Берлин уже никогда не вернулась.

[26] Там же. С. 314.
[27] Там же. С. 315.

Франк Трайбман

# Маленькое счастье на реке

*Gusel Jachina: Suleika öffnet die Augen.*
*Roman.*
*Aufbau Verlag, 2017. Übersetzt von Helmut Ettinger*
*ISBN: 978-3-351-03670-6*



Название и первое предложение романа — это уже обещание: Зулейха открывает глаза. И Гузель Яхина, писатель и киносценарист, родившаяся в Казани в 1977 году, на первых девяноста пяти страницах своего дебютного романа это обещание блестяще выполняет. Фотографически точным и вместе с тем сфокусированным взглядом кинокамеры она в первой части романа следит за восприятием действительности, страхами и маленькими радостями своей героини — Зулейхи. Зулейха — ещё молодая супруга татарского крестьянина и покорная прислуга при его матери, своей свекрови; она — законная собственность их обоих. Но ещё она мать четырёх во младенчестве умерших девочек и благочестивая жена крестьянина, которая задабривает сластями духов своего маленького мира, боится тёмного леса и подчиняется патриархальному миру крестьянско-татарского ислама. Узкие границы этого маленького мира дают ей опору, и она никогда не думала, что лишится этой опоры, что будет вынуждена и сможет без неё жить.

На более чем пятистах страницах романа читателя буквально околдовывает мир Зулейхи — частичка Татарстана. Этим волшебством проникнут авторский текст, а то, что Яхина пишет также сценарии к фильмам, представляется лишь необходимым условием для создания подобного произведения. Наивный взгляд молодой жены крестьянина, свойственные ей страдания, её застенчивые надежды и тревоги превращаются в магическое стекло, в котором происходящие события раскрываются сами

по себе. Мы погружаемся в своего рода магический реализм, который нас берёт за руку, а «сырая ткань» сюжет увлекает нас за собой без слезливости и повествовательного балласта.

О чём идёт речь в романе? Мы находимся в начале 1930-х годов в Татарской АССР. В стране бушует сталинское раскулачивание, и в деревенском мире Зулейхи уже чувствуется то, что спустя несколько лет переросло в террор и генеральную чистку. Зулейха попадает в колесо истории, её раскулачивают, ссылают в Сибирь, где она должна перевоспитаться, чтобы стать «советской». В дороге она встречает других, не упомянутых в названии романа героев: молодого офицера ГПУ Ивана Игнатова, убийцу её мужа и начальника эшелона, везущего их в Сибирь; профессора медицины Лейбе, которого недоброжелательность его домработницы привела в депортационные списки (их требовалось заполнить любыми методами) раскулаченных; преступника Василия Горелова, которого засылают в поезд как доносчика; петербургских интеллектуалов, затесавшихся в общую толпу раскулаченных, и некоторые другие мёртвые души. Они все, включая Игнатова в роли начальника, обосновываются на Ангаре в тайге, где отвоёвывают у суровой природы, у леса и у реки право на выживание и создание нового дома — поселения на краю света, куда карающий глаз Аллаха, как обнаруживает Зулейха, уже не достаёт, где человек человеку — счастье и нужда, последняя надежда и разочарование. «Педагогическая мера» терпит крах — люди не становятся более советскими, но они находятся в поиске себя и в поиске других, а некоторые ещё и в поиске скромного счастья.

Как уже говорилось, первая часть романа просто великолепна. К сожалению, дальше уровень немного снижается. Это происходит из-за того, что Яхина оставляет Зулейху и гениальную фокусировку на ней, и увеличивает перспективу до крупной панорамы. Два других персонажа попадают в более узкий фокус: уже упомянутые офицер ГПУ Игнатов и врач, профессор Казанского университета Вольф Карлович Лейбе. Однако Яхиной только в случае Лейбе удаётся и далее сохранять свой магический реализм. Игнатов же остаётся до клише нечётким, и замыслом, и исполнением напоминающим по-

ложительных героев соцреализма. К сожалению, то же самое относится и ко всем другим героям, которые заполняют соответствующие сцены только как характерные типы. Однако куда более, чем эти клише и некоторые необязательные технические недочёты, разочаровывает моральный посыл литературного дебюта Яхиной, вопреки порой великолепной, лаконичной поэтике этого примечательного повествования. Яхина до неузнаваемости «переупаковывает» весь ужас истории, о котором могла идти речь в романе, творя красивую и трогательную историю о победе добра и человечности — с кульминацией в невозможной истории любви между Зулейхой, жертвой, и Игнатовым, преступником. И хотя автор не избегает смерти и убийств, и то, и другое, однако, остаётся либо в эстетическом элементе — как красная кровь на снегу, либо, что ещё хуже, в конечном итоге оправдывается всех уравнивающим законом дикой природы «либо ты, либо тебя».

В конечном итоге, Яхиной не удалось показать в своём произведении диалектически безысходное состояние *conditio humana*[1], характерное для двадцатого века. Горькая истина возможного конца всякого человеколюбия осталась ею непонятой.

[1] Человеческое состояние (лат.) — термин, означающий состояние неустроенности и физической нелепости человека в попытках устранить беспокойство, связанное с поиском смысла жизни.

Сергей Шабуцкий

# Сапёр в царстве мёртвых

*Александр Дельфинов: #TriggerWarningPoetry*
*He/Свободные стихи. PANDA-Theater, 2017*

Английское словосочетание *trigger warning* — это предупреждение о том, что в некоем произведении, будь то книга, фильм, газетная статья или новостной репортаж, содержится нечто, способное оскорбить, рассердить или нанести зрителю/читателю психологическую травму. Сцены насилия, обсценная лексика, хроники наркотических трипов, элементы порнографии, непочтительное упоминание религиозных святынь — всё это может для кого-то стать триггером, то есть «красной тряпкой» или «разговором о верёвке в доме повешенного».

Название книги Александра Дельфинова *#TriggerWarningPoetry* оформлено в виде хэштэга — без пробелов и знаков препинания, поэтому возможны по крайней мере три его интерпретации.

Интерпретация первая: перед нами стихи, основанные на триггерах, стихи с маркировкой «18+» или «слабонервных просим покинуть цирк». Интерпретация вторая: стихи, составившие книгу, сами являются предупреждением. Автор находит болевые точки в окружающей действительности и, словно сапёр, помечает их текстами-флажками. О третьей интерпретации поговорим позже.

По Дельфинову, страшны не сами триггеры, а то, на что способны люди, когда какой-то из триггеров срабатывает. «Эти сырые темы я сливаю вовсе не потому, / Что ссыкотно умирать. / Нет. / Настоящий ужас здесь вызываете вы, / Отдыхающие на пляже». Живя в социуме, человек постоянно подвергается издевательствам. В детском саду, в школе, на улице, в семье, на работе, в отделении полиции. Причём основная опасность исходит именно от тех, кто объявляет себя защитником добра,

веры, порядка или нравственности. Так, в стихотворении «Путин» толпа, линчующая инакомыслящих, кричит: «За наших детей, распятых иродами!», «За всех святых и праведников!» и «Воистину воскрес!» Над тобой не просто издеваются, тебе попутно объясняют, что негодяй и преступник — ты, и всё, происходящее с тобой, мало того что заслужено, так ещё и является актом милосердия. И если от кого-то и можно ждать помощи или хотя бы сочувствия, то только от таких же как ты «маргиналов», «предателей» и «врагов народа». В социуме нет запрета на насилие, есть запрет на упоминание о нём. Никого не шокируют действия, шокируют слова.

*— Отвлеклись на секунду, а пидор сбежал.*
*— Утёк, чо.*
*— Ну и хуй с ним.*
*— Вы матом не ругайтесь, сколько раз говорить, дети здесь!*
*— Пардон, мадам!*

Всё это не означает, что автор бичует пороки общества. Перед ним стоят гораздо более сложные задачи. Лирический герой Дельфинова — одновременно и жертва, и трикстер, и спаситель-неудачник, и утешитель.

Он ненавидит насилие, но с ужасом понимает, что из насилия соткано всё сущее, в том числе он сам. И если он — часть этого мира, если он вместе со всеми травил в детстве «неправильных» сверстников, то может ли быть, чтобы он никого не убил до сих пор? «Где мой чёрный пистолет? /<...> Пистолета нет. / Но я его чётко помню. / В руках ощущал его холодную тяжесть». Оказывается, может. Благодаря тому, что первые же детские травмы оказались несовместимы с жизнью, нашему герою, чтобы выжить, пришлось преодолеть свою человеческую природу. Яд действительности не задерживается в его организме, как не задерживается в шестилетнем Саше Смирнове ненавистный борщ. И теперь наш герой скорее претерпит какие угодно метаморфозы или вообще перестанет существовать, нежели совершит акт насилия или будет хотя бы заподозрен в чём-то подобном.

*Я хотел поцеловать тебя.*
*Твои глаза вдруг наполнились слезами,*
*Ты отшатнулась в ужасе:*
*«Только не бей!» —*
*Воскликнула ты.*
*А я*
*Превратился*
*В растопыренную сухую корягу*
*И кряхтел, рассыхаясь.*

От него постоянно что-то отваливается, он распадается на элементы, его органы то начинают истреблять друг друга на почве политических разногласий, то высыпаются из тела разноцветными шариками, но распад этот не фатален. Беда в другом. Действительность не властна над ним, но и он ничего не может в ней изменить. Да, он неуязвим, и в этом его проклятие. «В землю лечь хотел пойти я / Места нет». Он обречён на бесконечное путешествие по кругам ада. Он может нарушать любые предписания, идти против любых условностей, может даже покончить с собой — ни к каким переменам это не приведёт.

Просить Бога о помощи бесполезно. И не потому, что Его не удаётся найти. Напротив, Бог постоянно рядом: и в кастанедовской пустыне, и в набитой маршрутке, и даже в твоей голове, где прикидывается одной из твоих субличностей. Вот только помогать не спешит. То ли не хочет, то ли сам стал заложником установленного Им же миропорядка.

*Электричка мчит по кольцевой линии.*
*Больше всего я боюсь заснуть,*
*А очнуться утром того же самого дня.*
*Вернуться туда, откуда невозможно сбежать.*

Бояться, впрочем, поздно. «День сурка» уже наступил, с той лишь разницей, что героя окружает не сонный провинциальный городок, а бурный и непредсказуемый кошмар. И в этой непредсказуемости парадоксальным образом есть некоторое утешение: она хотя бы не даёт скучать.

Однако самое, пожалуй, страшное — это даже не невозможность освободиться, а невозможность освободить других. Ты волен сколько угодно спускаться в аид, но ни одна Эвридика за тобой не выйдет.

*Акула в аквариуме*
*Нарезала круги*
*Нервно, сосредоточенно,*
*Иногда поворачивалась*
*Белым животом,*
*И тут мы видели её зубы. <...>*
*Аквариум жил своей замкнутой жизнью.*
*Жрали по расписанию.*
*Отсос фекалий по расписанию.*
*Секс по расписанию.*
*Только смерть ещё оставалась*
*Непредсказуемой. <...>*
*«Если аквариум взорвать, — думал я, —*
*То акула задохнётся на свободе...»*

Освободить акулу невозможно не только потому, что вне аквариума она погибнет, и не только потому, что «У ада прозрачные стенки, но снаружи лишь новый ад». Начало стихотворения отсылает нас к братьям Стругацким: «Я смотрел на окуня в ванне. Окунь плавал кругами, лихо поворачиваясь на виражах, и тогда было видно, что он выпотрошен». Иными словами, акула по определению не вполне жива, а это значит, что смерть как средство освобождения не сработает.

Действительность настолько чудовищна, абсурдна и иррациональна, что порой начинает забавлять. Можно сказать, что в этом отношении Дельфинов наследует обэриутам. Но, в отличие от обэриутов, он не чувствует необходимости моделировать хаос речевыми средствами. Ему достаточно честной фиксации. «А я всего лишь мимо проходил / И сохранил душевное здоровье». И когда, например, Феликс Эдмундович карабкается обратно на временно утраченный пьедестал, здесь нет авторской выдумки — сплошная документалистика. Просто этого никто не хочет замечать.

Обывательская нелюбовь к «чернухе» и призывы видеть в окружающем «позитив» служат лишь для маскировки или легитимизации насилия. Но достаточно проследить за развитием событий, и мыльный пузырь лопнет сам собой: «В центре города, за рынком, / Между церковью и цирком / Жил веселый, добрый клоун. / Получил вчера в ебло он». Это не издёвка и не пустое хохмачество. Это наблюдательность и честность.

Стихи в книге датированы. И можно заметить, что изменения в стилистике нередко совпадают по времени с переменами в общественной жизни и обострениями массовых психозов. Характерно, что весной 2014 года «саркастическая нежность» (так определяет в предисловии к книге авторскую оптику филолог Гасан Гусейнов) окрашивается в патетические тона. Причём это необязательно означает прямую реакцию на российскую агрессию в Украине, как например «14 год», или «Русская осень», это может быть и обращение к трагическим эпизодам собственной биографии — к примеру, «Дверь в стене» или «Папа». Поскольку сегодня лобовой пафос в стихах за редким исключением воспринимается как свидетельство неадекватности автора, Дельфинов с удовольствием им пользуется. Почему бы не подразнить утончённую публику?

Есть ещё один любимый дельфиновский триггер для языковых пуристов и поборников традиции — рассыпанные по тексту нарочитые «огрехи» и «небрежности» вроде «этих гадов я вздёрнул бы вверх». Если «так писать нельзя», значит нужно. А кроме того, для многих современных поэтов, мастерски владеющих формой, классическая правильность, равно как и её сознательное отрицание — пройденные этапы. Сам вопрос нормативности-ненормативности давно перестал быть актуальным.

В начале статьи я привёл две трактовки названия книги. Пришло время для третьей. Если между *warning* и *poetry* поставить двоеточие, перевод будет таким: «осторожно, содержит поэзию». И это чистая правда. Не только в том смысле, что да, таки содержит, но и в том, что поэзия — триггер сама по себе, а все остальные триггеры — лишь средства для её создания.

«Но если я расскажу, тот, кто испытал подобное, / Вновь испытает подобное... / Как же мне рассказать вам?»

Теперь мы знаем, как.

# «Не пишите больше, мы тоже больше не будем писать...»

## История Ирены Цербст-Бороффки

*В 2015 году в издательстве Verlag Dr. Kovač вышла книга «Жизнь и труды немецко-русского исследователя Грегора Бороффки / Письма (1913–1935) семье из России в Германию»[1]. Ирена Цербст-Бороффка, составитель книги и племянница её главного героя, любезно согласилась встретиться с журналом «Берлин.Берега» и рассказать о Грегоре, которого в 1942 году расстреляли по ложному обвинению в шпионаже. Запись устного рассказа Ирены Цербст-Борофкки предлагается вашему вниманию. В книге цитируются письма Грегора своим родственникам, а также даются подробные комментарии.*

*Для нас эта история — яркая и в то же время ужасающая иллюстрация трагедии, которую пережили оба народа — немецкий и русский — в двадцатом веке.*

Я — самая младшая в своём поколении, и по прошествии лет все эти письма оказались у меня.

Грегор Бороффка — брат моего отца. Их семья жила в Санкт-Петербурге — и это была семья с немецкими корнями.

Мой дед, Йозеф Бороффка, с 1878 года преподавал в императорской консерватории. Помимо этого, он владел музыкальной школой — вначале она располагалась по адресу Невский проспект, дом 16, а потом переехала на Троицкую, дом 13 (ныне улица Рубинштейна). Его родители работали в Санкт-Петербурге в царском театре, мать как певица и артистка, отец — в качестве суфлёра. Их сын, мой дед Йозеф, родился уже в Санкт-Петербурге. Жена Йозефа, Агнес, моя бабушка, тоже родилась там, хотя её предки родом из Балтии — отец Агнес, торговец, переехал в Петербург в ранней молодости.

[1] *Irene Zerbst-Boroffka*: «*Leben und Wirken des deutsch-russischen Forschers Gregor Boroffka* / Briefe (1913–1935) a*n die Familie aus Russland nach Deutschland*». *Hamburg, Verlag Dr. Kovač*, 324 S. ISBN 978-3-8300-8689-5.

У Йозефа и Агнес родилось четверо детей: Франц — старший, Грегор — тот, о котором идёт речь в книге, Эрвин — мой отец, и Лилли — самая младшая.

Вся семья жила очень сплочённо. Это объяснялось, в том числе, и тем, что братья Франц и Эрвин позднее, уже в Потсдаме, женились на сёстрах. Члены семьи всегда держались друг друга — как и мы, их дети, в последующих поколениях.

Вся семья эмигрировала из Петрограда в 1918 году — сразу после революции, и только Грегор, Го́ри, как его называли родственники, остался там — из-за рабочих перспектив, а также из-за того, что он дорожил своими друзьями. К тому моменту он уже работал в Эрмитаже вместе с археологами и историками искусств. Родители, братья и сестра уехали на запад, и я, как потомок эмигрантов, конечно, воспитана в западных традициях.

Помимо прочего, у Йозефа был брат Вилли, Вильгельм — значительно младше его. Вилли был последним ребёнком в семье. Он ощущал себя русским, а Йозеф — немцем. Из-за этого часто возникали острые споры — в письмах Гори говорится и об этом. Естественно, в 1918 году Вилли тоже остался в Петрограде и взял в жёны русскую женщину...

Лилли, сестре Гори, было всего четырнадцать лет, когда грянула Первая мировая война, и семнадцать, когда случилась революция. В Германии ей было некомфортно в роли русско-немецкой эмигрантки. И хотя Гори в своё время пытался зазвать её обратно (он говорил: «будет лучше, если ты приедешь в Россию»), это было, разумеется, невозможно.

**Из письма Грегора Бороффки от 5 апреля 1920 года:**

*... Und so ganz allein bin ich, daß ich mich oft nicht zu halten weiß. Habt Ihr viel gelitten, ist Euer Leben schwer? Du, Mutterchen, schreibst freilich, daß es Euch gut geht, aber ich kenne Dein gutes Herz und Deinen tapferen Sinn.*

*... Und wie leben die Geschwister draußen, im teuren, unglücklichen Deutschland? Welch ein Geschick erwartet sie? Und Lilli, die liebe Schwester, was schreibt sie euch? Mich quält der Gedanke, daß sie nicht das gefunden hat, was sie suchte. Wie gerne nehme ich sie zu mir, wenn es nur zu machen wäre, denn wir beide könnten hier schon durchkommen.*[2]

[2] ...И я настолько одинок, что часто не знаю, как быть. Много ли вы страдали,

В семье говорили на немецком. И письма тоже были написаны по-немецки. Когда я стала изучать вопрос плотнее, я также узнала о школе, в которую они ходили. Это было знаменитое немецкое евангелистское Училище при реформатских церквах в Санкт-Петербурге — очень любопытная. В ней были представлены все страны и все религии. Русские дети туда тоже ходили.

В целом школа была двуязычной, однако во время Первой мировой войны там разрешалось общаться только по-русски — что, очевидно, создавало ряд сложностей. Однако ранее в Санкт-Петербурге существовала большая и очень активная немецкая община — со своей библиотекой, немецкой газетой и так далее. Как я говорила, отец Гори был тесно связан с императорской консерваторией. Он был пианистом, занимал должность профессора и даже получил чин статского советника. Естественно, он тоже много говорил по-русски. Гори владел обоими языками в совершенстве, а ещё в школе он учил английский и французский, и также занимался литературой на этих языках.

Началась Первая мировая война — и, конечно, для немецкой семьи это стало катастрофой. Начался ужасный голод, а Гори арестовали — впервые это случилось ещё при царе — из-за его немецкого происхождения. А после революции семья приняла решение: так или иначе, но нужно уезжать. Родители с Эрвином уехали в Эстонию (тогдашнюю Эстляндию), а через два-три года переехали в Германию — ведь и в Балтии тогда велись боевые действия.

Агнес, мать Гори, была родом из Ревеля, который сейчас называется Таллином. У Агнес там оставался брат. Многие наши родственники были там зажиточными людьми, так называемыми балтийскими баронами. Поэтому родители Гори эмигрировали именно в Эстонию — однако и там жизнь была крайне бедной. Порой не хватало еды. В общем, это было тяжёлое время. Лилли

---

тяжела ли ваша жизнь? Ты, мамочка, пишешь, что, конечно, у вас всё хорошо, однако мне известно твоё доброе сердце и твоё мужество.

...А как живут мои братья и сёстры по ту сторону границы, в дорогой (дорогостоящей.—*Прим. ред.*) несчастливой Германии? Какая судьба их ожидает? А Лили, милая сестра, что она вам пишет? Меня терзает мысль, что она не нашла того, чего искала. Как рад я был бы забрать её к себе, если бы это было только возможно, поскольку мы вдвоём тут смогли бы продержаться.

уехала в 1918 году сразу в Потсдам — к Францу, старшему брату.

Родители постоянно говорили о «прекрасной» Германии, однако на деле страна оказалась уже не столь прекрасной. И там тоже всё было крайне непросто.

С 1918 года Гори остался один, и, конечно, в послереволюционном Петрограде он тоже сталкивался с огромными сложностями. Однако он уже тогда был с головой погружён в работу в Эрмитаже. В одном из писем, я думаю, от 1923 года, уже после смерти отца, он пишет матери о том, что живётся ему тяжело. А ведь раньше он часто писал: «Да что там, у меня всё в порядке» или «Мамочка, не волнуйся».

Франц, с которым Гори находился в постоянной переписке, умер в 1935 году от рака. А мать, Агнес, которой он тоже много писал, умерла ещё раньше, в 1932-м. Эрвин, его младший брат, то есть мой отец, стал пианистом и давал уроки игры на фортепиано. Однако, как только началась Вторая мировая война, он был сразу же призван на военную службу в немецкую армию. Сперва их отправили во Францию, а позднее в качестве переводчика он был послан в Польшу. Он погиб весной 1943 года под Варшавой, куда его отправили в командировку. Я была ещё совсем маленькой, и почти не помню его.

Лилли прожила долгую, очень долгую жизнь. Она дожила, я думаю, до девяноста трёх лет. Годами напролёт она жила в меблированных комнатах — свою квартиру она иметь не хотела, всегда надеясь, что сможет вернуться в любимую Россию. В 1966 году она съездила в Советский Союз. Город и люди очаровали её — «все были такими милыми», говорила она. С 1955 года и до смерти она жила в Стокгольме — с сыном и невесткой, которая родом из Японии. Детей у них не было.

Лилли много времени проводила с нами. Все три брата рано умерли, поэтому образовался своеобразный «кружок» трёх вдов — жена Франца, старшая сестра моей мамы, жена Эрвина — собственно, моя мама, а ведь ещё сама Лилли овдовела — её муж умер в 1936 году от инфаркта. Три дамы отлично ладили друг с другом и всегда хотели, чтобы и их дети активно занимались музыкой, как было заведено в родительском доме в Петербурге, и получили хорошее образование.

...Гори остался в России, в первую очередь из-за Эрмитажа. Работу там он находил очень и очень интересной, это было для него самым главным в жизни. Позднее он даже встретил в Эрмитаже свою любовь. С точки зрения семьи, находящейся на Западе, в 1920-х годах всегда стоял вопрос о его переезде в Германию. Однако он был тесно вовлечён в рабочие дела, а ещё он видел, как сложно приходится людям — вначале в Эстонии, а потом в Германии. Повсюду настали трудные времена. А 1920-е годы в СССР, точнее, их начало, были для Гори не такими уж и опасными. Возможно, тогда было сложно предсказать, как будет развиваться политическая обстановка. Или он сам не мог это оценить.

Гражданскую жену Гори звали Катей Малкиной. Он писал о ней в одном из писем (от 11 августа 1923 года):

*... bin ich doch reich. Das ist Kama, meine liebe kleine Freundin.*

*... wissen wir nun, dass trotz aller Gegensätze und Widrigkeiten, was das Leben auch mit uns vorhaben mag, ein liebendes Geschick uns zueinander geführt hat.*

*... Darum will ich, dass auch Ihr Euch gewöhnt sie lieb zu haben*[3].

Катя с самого начала работала с ним в Эрмитаже. Она была литературоведом — и как же я хотела пообщаться с ней! Катя была человеком особенной судьбы. Ведь Гори с 1930 года находился в заключении, и она в первые годы, до 1935-го, исправно, каждые два месяца писала открытки в Германию. Она была единственной ниточкой, соединяющей его с семьёй, находящейся на Западе. Право на переписку с Гори было только у неё. В семье рассказывали, что примерно в тридцать пятом — тридцать шестом году пришла открытка (которую я, впрочем, ни своими глазами не видела, ни в семейных архивах не смогла найти): «Не пишите больше, мы тоже больше не будем писать». Это было последнее сообщение того времени.

---

[3] …Но мне всего достаточно. Это Катя, моя любимая маленькая подруга.

...Теперь мы знаем, что, несмотря на все противоречия и неприятности, которые и нам готовит жизнь, счастливый случай привёл нас друг к другу.

...Поэтому я хочу, чтобы и вы её полюбили.

Гори и Катя не завели детей. И брак они не заключали. Когда я была в Санкт-Петербурге в 1994 году, я не смогла отыскать родственников Кати. Однако из её открыток я знала, что у неё были брат и сестра. И лишь позднее я, только благодаря центру «Мемориал», узнала, что сестра Кати, которая вместе с ней и Гори какое-то время жила в одной квартире, была вместе со своим мужем арестована, а позднее, вероятно, расстреляна. Это, по всей видимости, случилось в промежуток с 1935 по 1937 годы, во времена Большого террора — и ровно тогда, когда Катя уже больше не писала писем. Брат Кати тогда избежал смерти, однако в 1966 году, когда Лилли была в Ленинграде и посетила Эрмитаж, ей не сказали, что он ещё жив. Я сама об этом узнала только в 1990-х годах. В шестьдесят шестом, во времена Хрущёва, всё это казалось ещё слишком опасным — а может, Лилли просто хотели пощадить.

Катя дружила с Анной Ахматовой, и в одной из книг об Ахматовой я даже нашла упоминание Кати — к примеру, что она в те трудные времена продолжала писать рецензии на новые книги, которые появлялись в Ленинграде. Она писала о всех тогдашних авторах. Думаю, её все знали. Катя была очень интересной, высокоодарённой женщиной, мне кажется.

Мы всё время думали: что же, что же с ней в итоге произошло, и об этом я думаю до сих пор. Впервые в Эрмитаже я побывала в 1994 году. Мне там оказали всяческую поддержку, я получила много ценных сведений, в том числе фотографии о работе Гори в 1920-х годах. И тогда я узнала, что Катя пережила не только Гори, но и блокаду в Ленинграде, ужасную немецкую блокаду. И в 1945 году она была убита — в своей квартире на улице Малой Посадской, дом 10, где с ней вместе также жил и Гори. Как предполагают, её убил какой-то рабочий. Она перенесла столько страшных испытаний и встретила столь жуткую смерть...

Гори занимался скифами, а позднее написал книгу о скифском искусстве.

**Из письма Грегора Бороффки от 22 мая 1921 года:**

*Lieber Vater, die neue Arbeit (über den skythischen Tierstil), die mir vor kurzem gelungen ist ... will ich Dir widmen, denn sie ist das Selbständigste, was*

*mir bisher geglückt und gehört deshalb in erster Hinsicht Dir. Zur Ausführung gehören freilich umfassende Vorarbeiten ... wie z. B. das vorchristliche China.*[4]

В этой связи в 1924 году он отправился в командировку в Монголию, на раскопки. Именно там были подняты на поверхность сенсационные древние находки — знаменитые фрагменты ткани из местности Ноин-Улла, которые для истории Монголии имели колоссальное значение. Гори был своего рода доверенным лицом на переговорах между монголами и русскими. Существует великолепная книга Натальи Полосьмак, российского археолога, которая проанализировала документы, полученные из Эрмитажа, подробно написав и о тех раскопках, и об участии Гори в них. Вдобавок Полосьмак и сама возглавляла некоторые археологические исследования в тех местах. Наполненные жизнью описания Гори поездок в Монголию и работ на раскопках могут немало добавить к обширным познаниям археологов (в России, Германии, Монголии) на эту тему.

Мне известно о работе Гори в Монголии из его писем, и, я думаю, сведения из них прекрасным образом дополняют то, что доныне было известно о раскопках.

На второй год Гори получил от Монголии задание исследовать и другие места для раскопок. Это была совместная советско-монгольская экспедиция, и Гори был тем, кто мог или был должен перевозить найденные материалы в Ленинград. Дело было в том, что тогда в Эрмитаже было больше возможностей и опыта в консервации находок, нежели в Монголии. Методы, применяемые в Монголии, ещё не были достаточно проработанными. Не стоит забывать, что в те времена общество ещё было совсем другим.

По заданию советского руководства Гори готовил в Берлине выставку о монгольских находках, неоднократно бывал в Германии, делал доклады и стал весьма известным среди ар-

[4] Дорогой отец, новую работу (о скифском зверином стиле), которую я недавно закончил, я хочу посвятить тебе, ибо это самое независимое, что мне удалось до сих пор, и поэтому принадлежит прежде всего тебе. Для осуществления этого потребовалась большая предварительная работа, к примеру, о дохристианском Китае.

хеологов и историков искусства. Впервые после 1918 года встретиться со своей семьёй он смог во второй половине двадцатых, с 1926 по 1929 годы. Он пытался сохранить связь как с родственниками, так и с немецкими археологами. Он также старался наладить сотрудничество с немецкими учёными. И это, я думаю, в дальнейшем сильно осложнило его участь.

...Всего Гори был арестован трижды. Первый раз — в 1914 году, в царские времена, после начала Первой мировой войны. Он отсидел три или четыре месяца и далее получил возможность вернуться в Петроград. В этом ему помог его профессор из университета, а также то, что его отец располагал связями в кругах, близких к императору. Во второй раз, в сталинские времена, его приговорили к десяти годам лагерей. А третий арест, случившийся в Ухте в 1941 году, привёл к его смерти.

После того, как Гори был арестован в 1930 году, Катя ещё писала письма и открытки его семье. Иногда это были просто короткие сообщения, что он больше не может писать, и просьбы выслать немного денег. Во второй половине двадцатых он посылал деньги Лилли и матери. После 1930-го уже они, а также брат Франц посылали Кате сэкономленные деньги — то одну марку, то десять. Купюры и монеты заворачивали в пакеты с едой.

**Из писем Кати Малкиной**[5]:

**09.09.1933**. *Гори шлёт вам привет. Он просит, если за его английскую книгу ещё причитаются деньги, перевести их через Торгсин на моё имя. Даже если речь идёт об одном-двух долларах, это имеет смысл, я пошлю Гори то, что ему нужно.*

**09.04.1934**. *Деньги от вас я получила, ещё две недели назад, и ужасно обрадовалась, потому что эту сумму, вместе с тем, что у меня есть здесь, можно растянуть на 4½ месяца. Я сразу же отправила Гори посылку...*

Его обвинили в шпионаже, а обоснованием для этого стали его командировки в Берлин. Помимо прочего, я получила из Москвы протоколы допросов, в которых он указывает, с кем

[5] Письма Кати Малкиной были переведены на немецкий для публикации в книге. В настоящей статье приводится обратный перевод её писем.

он встречался в Берлине. Да, это была командировка, его отправили в Берлин, и он, конечно, общался со всеми коллегами, как принято при обсуждении научных докладов.

Ему вменили в вину контакты с кем-то, чьё имя я никогда ранее в семейных разговорах не слышала. Как бы то ни было, его обвинили в шпионаже, однако по существу его посадили из-за того, что он был немцем и принадлежал к буржуазии! Кроме того, в Эрмитаже царило большое беспокойство, и использовались все возможности, чтобы указать на кого-либо как на шпиона, и отнюдь не только из-за немецкого происхождения.

В тридцатых годах, после второго ареста, Гори жил в Ухте. В 1940-м тюремный срок закончился и его освободили. Однако он не имел права вернуться в Ленинград — он получил лишь право на переписку и обменивался письмами с коллегами по Эрмитажу. Его сестра Лилли в 1966 году в Ленинграде общалась с сотрудницами музея. Они вели себя очень осторожно. Очевидно, они всё знали — сказали, что Гори нет в живых, но добавили, что он умер вследствие болезни. Но где и когда именно, «сказать нельзя». Тогда пришёл кто-то ещё и сказал всё как есть. Но ведь, как известно, это тоже были тяжёлые времена, и многое забылось. Люди и в хрущёвскую эпоху были очень осторожными.

На протяжении десяти лет заключения он жил в Ухте не только в тюремном лагере, но также и в близлежащей деревне. Существовал один внутренний лагерь, и ещё один, где люди могли под присмотром выполнять разные работы — валить деревья или проводить геологические изыскания. Однако до 1940 года Гори оставался заключённым, и обращались с ним как с заключённым.

И когда он в 1941 году в Ухте, уже в статусе «вольноотпущенного», снова был арестован, это было, конечно, связано с войной с Германией. Удивительным образом это случилось только в ноябре 1941 года, то есть не сразу же в июне, когда началась война с СССР. Естественно, утверждалось, что он проводил агитацию — и его сразу приговорили к смерти. Или не сразу. Всё затянулось ещё на полгода — его ведь расстреляли в июне 1942 года. Его пытали, и он после этого подал ходатайство о помиловании.

Откуда я всё это знаю? Я обратилась к обществу «Мемориал» в Берлине и получила значительную помощь. Они мне помогли составить письма на русском языке в московский и ухтинский архивы. Из Москвы мне прислали документы об аресте Гори и о его смерти, всё, что только можно.

Через «Мемориал» я связалась с Ухтой и получила материалы также и оттуда. Так я смогла восстановить, чем он занимался на севере. К примеру, я получила документ с фотографиями, в котором было указано, что он работал геологом. А поскольку он уже работал на раскопках в качестве археолога, его привлекли к исследованию почвенного горизонта для поисков полезных ископаемых. Он стал специализироваться и как палеонтолог. Вдобавок он в Ухте принимал участие в создании геологического музея. А ещё он там преподавал в университете, который как раз в то время был открыт.

Повторю, действительно, помощь «Мемориала» была очень существенной, без них я бы ничего не смогла узнать о его работе и достижениях в то ухтинское десятилетие.

**Из письма Кати Малкиной от 24 ноября 1934 года:**

*От Гори пришла лишь телеграмма на мой день рождения, где он сообщает, что закончил крупную научную работу. У него нескончаемо много разных занятий (уроки на немецком, работа в геологическом музее), и нужно обладать большой выносливостью, чтобы ухитряться заниматься ещё и научной работой.*

Пока Гори мог вести переписку, он слал письма домой. Вначале брату — до Первой мировой войны и пока родители ещё не уехали, а позднее, когда и родители, и Лилли уехали, он писал им и брату в Эстонию и Германию.

Вообще-то Франц, его старший брат, поехал в Германию на учёбу. Тогда было в порядке вещей, что после окончания обучения недавние студенты уезжали за границу. И очень интересно, что слово «уехать» Гори использовал и в своих письмах — но он себя видел исключительно ленинградцем, и «уехать» для него означало отправиться в Германию или Эстонию. Это достойно внимания.

Письма Гори из мест заключения мне не удалось получить. Он ведь был осуждён «без права переписки» и имел право писать только Кате Малкиной! И, я думаю, не чаще раза в месяц.

К слову, книга началась с его юношеских писем времён Первой мировой войны. Об этом стоит упомянуть хотя бы из-за того, что уровень писем, естественно, был неодинаковым, ведь вначале отправителем был школьник, пишущий старшему брату, а потом — много переживший взрослый, обращающийся к своей эмигрировавшей семье.

Вот, к примеру, фрагменты из двух писем. Первое — от 1913 года. В нём Гори, ещё студент, обращаясь к брату Францу, критически отзывается о своём окружении. Второе — от 1925 года, написанное матери Агнес. В нём уже взрослый мужчина, учёный-исследователь, осознаёт значение исторических взаимосвязей:

**19.03.1913**

*... mit meiner alma mater bin ich, gelinde ausgedrückt, nicht zufrieden und ich habe für sie auch noch nicht viel gearbeitet. ... denn was wir im Praktikum getrieben haben (bei Farmakoffsky*[6]*), war so planlos, daß man sich kein Bild von der Sache machen konnte*[7]*.*

**26.01.1925**

*... Vielleicht der stärkste Eindruck, den ich vom Leben im Osten erhalten habe, ist neben einem Besuch in der chinesischen Ansiedlung neben Urga, die den Eindruck einer reizenden antiken Kleinstadt macht — ein Abend in Urga selbst. .... Als wir näher kamen erkannten wir — die russische Balalaika und russische Lieder ... stürzte hinter einer Straßenecke mit Fauchen und Geheule ein Automobil hervor, das mit seinen grellen Scheinwerfern die Dunkelheit der Nacht zerriß. So sieht heute der „ferne" Osten aus. Die europäisch-amerikanische Zivilisation verschlingt alles und daneben stirbt allmählich der alte Orient in Wesenlosigkeit dahin*[8]*.*

---

[6] Борис Фармаковский (1870–1928), историк и археолог

[7] Своей *alma mater* я, мягко говоря, недоволен, и я пока для неё не так много сделал... Ведь то, чем мы занимались на практике (у Фармаковского), было настолько бессистемным, что я не мог составить никакого цельного впечатления.

[8] Возможно, самое сильное впечатление, полученное мною от жизни на Востоке, помимо поездки в китайское поселение рядом с Ургой, которая про-

Поиск писем был очень хаотичным. Некоторые поступили от семьи Франца, некоторые хранились у моей мамы, некоторые я получила позднее из стокгольмского архива Лилли.

Первые же письма, которые мне случайно довелось прочесть, привлекли большое внимание. И в начале девяностых я начала их переносить в компьютер, просто из интереса, и чтобы они не потерялись. Сперва я не рассматривала их как возможный материал для книги. Вовсе нет. Тогда я ещё много работала и лишь изредка могла выкраивать время на перепечатывание писем. Но я также старалась добыть больше информации о жизни своего дяди-исследователя.

Когда я получила эти сведения и перепечатала все письма, я подумала: а ведь их можно опубликовать, это ведь так интересно — и не только для моих детей и для археологов. Эти письма рассказывают о тогдашнем времени и, возможно, будут интересны и историкам.

Книга выстроена таким образом, что я вначале даю несколько пояснений, далее идут письма Гори определённого периода, а затем — соответствующие фотографии.

Я родилась в Потсдаме[9], но поначалу жила в берлинском районе Шарлоттенбург. А когда мой отец умер, мать переехала в отчий дом в Потсдаме. Поэтому я именно там и выросла, и отучилась восемь классов. Когда я лишилась возможности учиться в старших классах, а моя сестра — поступать в университет (а вдобавок к этому мой брат уже учился на Западе), мы все решили тоже отправиться в Западный Берлин. Там я пошла в старшую школу, получила аттестат и выучилась биологии.

Ситуация была такой, что мы как дети «интеллигенции» в начале 1950-х годов были не в привилегированном положении. У детей рабочих и крестьян шансов было куда больше. Нам вы-

изводит впечатление пленительного древнего городка — вечер в само́й Урге... Как только мы подошли поближе, мы узнали звуки русской балалайки и русских песен... Из-за угла со скрипом и шумом вывернул автомобиль, который яркими фарами прорезал темноту. Так сегодня выглядит «дальний» Восток. Европейско-американская цивилизация заглатывает всё, и рядом с этим постепенно умирает старый Восток, растворяясь в небытии.

[9] После разделения Германии Потсдам входил в состав ГДР.

деляли очень мало мест в вузах, почти не было возможности для продолжения образования. Мне было сказано, что, если я интересуюсь биологией, я должна стать садовником.

Что касается сталинского времени — ясно, что все мои родственники считали его ужасным. Это логично, ведь Гори сгинул именно тогда. Конечно, мы крайне критически относились к тому времени. И насчёт коммунистической системы мы были очень, очень скептически настроены! Но это не касалось России и людей оттуда. Позднее я долгие годы отлично сотрудничала на научной основе с российскими коллегами на Байкале и даже дружила с ними.

Впервые я побывала в СССР ещё в горбачёвские времена. Во второй раз — в девяносто первом, во время путча. Из-за него никто с Запада не ездил — все боялись. Но тогда я получила финансовую поддержку от DAAD[10]. Сотрудники DAAD мне заявили, что я не могу ехать сейчас — они, конечно, никого из других командировок не отзывают, но сейчас очень проблематично «туда» отправляться. Но надо знать, как сложно получить финансирование для подобной исследовательской поездки. Это было также своего рода обязательством, и я решила, что так нельзя, и я должна любым образом выехать, как и собиралась. И тогда кто-то из сотрудников DAAD в Бонне позвонил мне поздно вечером накануне планируемого отъезда и сказал, что я теоретически могу ехать, потому что путч закончился, но у них нет для меня билета. И тогда я поехала на вокзал в Восточном Берлине, купила билет до Москвы, взяла рюкзак и сказала, что всё, я еду! Я верила, что смогу без проблем добраться до Иркутска — как и произошло. Мне там всячески помогали, мы отлично работали вместе, получили хорошие результаты и опубликовали совместные материалы.

До сих пор многие в Германии знают очень мало о России, о русской истории, русской культуре и людях. В России я чувствовала сердечную и эмоциональную связь со страной. Но за это время Россия стала для меня не только хорошо знакома. Мне очень нравится русский язык, это ведь был язык моего отца — и

[10] Немецкая академическая служба обмена (*Deutscher Akademischer Austauschdienst*).

поэтому я в детстве учила русский язык с большой охотой. Но, конечно, когда я приехала на Запад, возможности продолжать изучение русского не было, хотя мама ничего против этого не имела. В школе я была должна учить английский и французский (а позднее ещё и латынь), что в школьной программе восточной Германии не было предусмотрено. Это было непросто, и всё, что я сумела выучить, я забыла. Об этом я очень сожалею, поскольку язык какой-либо страны даёт также более глубокое понимание культуры этой страны.

**Из писем Грегора Бороффки от 25 июля и 13 сентября 1930 года:**

*... ehe ich heute über den kimmerischen Bosporus auf die „asiatische Seite" des Bosporanischen Reiches, wie sich die alten Griechen ausdrückten, hinüberfahre, (d. h. auf die Halbinsel Taman) noch einige Zeilen ...*

*... Unsere Expeditionsarbeiten schlossen wir ... am 1. September, nachdem wir uns 9 Meter von der Erdoberfläche durch lauter Kulturschichten vom XII nachchristlichen bis ins VI vorchristliche Jahrhundert und schließlich in den gewachsenen Boden hindurch gefressen haben ...*[11]

А книга об археологе, искусствоведе и геологе Грегоре Бороффке заканчивается фразой: «В воспоминаниях он остаётся как связующее звено между прошлым и настоящим, а равно между русской и немецкой культурами».

[11] ...Перед тем, как сегодня я перееду через киммерийский Босфор на «азиатскую сторону» Боспорского царства, как выражались древние греки (то есть на полуостров Тамань), ещё несколько слов...

...Мы заканчиваем экспедиционные работы... 1 сентября, после того, как мы углубились на девять метров от поверхности земли — через ряд культурных слоёв от 12 века нашей эры до 6 века до нашей эры, и, наконец, добрались до нетронутого грунта...

Гала Узрютова

# Dummerchen[1]

*Монопьеса*

**МАРЛЕН** — *45 лет, принципиальная брюнетка, преподаватель, тёмный костюм (пиджак+юбка), толстый каблук, очки (висят на шее). По тесту Айзенка она невротичный экстраверт (холерик). По тесту Кеттела у Марлен высокая напряжённость, высокий интеллект, высокая доминантность, сдержанность, смелость, чувствительность, настороженность, прямолинейность, радикализм, низкий самоконтроль. По цветовому тесту Люшера: психофизиологическое состояние — группа риска. Жаждет успеха, возбуждения, жизни, полной впечатлений. Преследует свои цели с упрямой решительностью, отказывается идти на уступки. Эгоцентрична, поэтому легко обижается. Проявляет нетерпение и возбуждение. Ещё и по знаку зодиака — Скорпион.*

*Конференц-зал в Берлине, где проходят мероприятия Конгресса психиатрии с участием ведущих мировых специалистов. На сцене — трибуна с микрофоном, на ней — бутылка воды, стакан. На задней стене зала — баннер с надписью "European Congress of Psychiatry, Berlin, May 15–17". Выходит Марлен, в руках — блокнот. Она спотыкается о ступеньку, но удерживается и не падает. Марлен подходит к трибуне, кладёт на неё блокнот, поправляет микрофон.*

**МАРЛЕН**. День добрый. (*Поправляет микрофон.*) Меня хорошо слышно? *Verdammt!*[2] Вечно с этими микрофонами проблемы. (*Открывает бутылку, наливает воду в стакан, пьёт.*) Слышно?

Меня зовут Марлен. Точнее, Марлена. Но это там, а здесь я Марлен. На конференции выступаю по приглашению своей подруги, профессора психиатрии Анастасии Демьяновой. Могу быть вашим подопытным кроликом. Дело дрянь, если

[1] Глупыш/глупышка, дурачок/дурочка (здесь и далее нем.).

[2] Твою мать!

честно. Мне сказали, здесь не только психиатры из России, но и специалисты из Чехии, Германии и Финляндии. Все получат обещанный гонорар.

Надеюсь, весь этот бардак в моей голове вас заинтересует. Я прошла уже пятнадцать психиатров. Толку — ноль. Или все они шарлатаны, или речь об аномалии.

Предыстория такая. В сентябре позапрошлого года мы с мужем переехали из Москвы в Берлин. Муж — русский немец. Здесь, в Берлине, умерла его бабка, оставила квартиру. Муж давно хотел уехать из России. Занимается бизнесом. Обстановка в стране его не устраивала. Говорил, что устал бороться, устал быть в постоянном напряжении. Да ещё эта девальвация.

В то время я работала завкафедрой в хорошем вузе. Переехать мне было сложно. Тем более, сын остался в Москве. Он программист, хочет открыть свое дело. У него жена, дочка.

В Берлине работают друзья мужа, они уехали раньше нас. Предложили ему подключиться к их бизнесу. Немецкий мы знаем. В общем, всё как-то совпало, и мы уехали. Всё было нормально. Муж с головой ушёл в бизнес, я устроилась преподавать русский язык, проводила индивидуальные занятия.

(*Пауза.*) Это... началось где-то в январе прошлого года... Странные сны... В общем, мне стал сниться президент России. Я, конечно, удивилась, но не придала этому значения. Никогда политикой не интересовалась. Политики не существует, всё решают деньги. Всегда смешит *Dummerchen*, который верит, что от его голоса что-то зависит. И правда, дурачок. И таких много. Какая разница, где ты живешь — в России, Германии, Мадриде или США — ты всё равно ничего не решаешь. Тебе просто показывают иллюзию, а ты веришь, как идиот.

Зато мой муж — весь в политике. Постоянно читает новости. Честно говоря, не понимаю, почему эта ерунда так интересует людей. Как будто планета закрутится в другую сторону, если с десяток комаров замашут крыльями.

Если бы президент приснился моему мужу, я бы не удивилась, но он стал сниться мне! Сначала раз в неделю, потом — три. Я стала плохо спать. (*Прислушивается к залу.*) Что? Что вы говорите? Поняла. Нет, в России мне такие сны не снились. Это началось, когда мы уехали.

Все сны были разные, но иногда сюжеты повторялись.

В первой серии снов президент всё время вкручивает лампочку. Она перегорает, и президент просит стремянку. Он залезает на стремянку, выкручивает старую лампу, вкручивает новую. И она не загорается. Я несколько раз приношу ему новую, но, чёрт подери, снова не загорается! Президент раздражается. Спрашивает меня, где я беру такие лампочки. А я спокойно отвечаю, что в кладовке. И добавляю: альтернативы всё равно нет. Завтра будет, а сегодня — нет.

Вторая серия снов. Большая комната с кучей принтеров. Президент инспектирует их, а я хожу рядом, вроде секретаря. Когда он приближается, принтер печатает листок с текстом или картинкой. Однажды принтеры напечатали бюсты Ленина, отчего президент совсем разозлился. Стал кричать. Говорить, что рожают они плохо. Вы посмотрите, что вы народили! И начинает этих Лениных бить. Сложно сейчас рожать, говорит, ну так поднатужьтесь, поднатужьтесь! И тут принтеры печатают кучи, просто кучи Лениных. Они стоят в ряд и хором поют песню. Ну, знаете, она везде сейчас. (*Поёт.*) Вечно молодой, вечно пьяный. А президент дирижирует этим хором. Вдруг разозлился и сказал: «А что это мы поём? Давайте нашу, нашу!» И запел: «Калинка-малинка», а хор снова: «Вечно молодой, вечной пьяный!» Президент стал колотить хор дирижёрской палкой. Бюсты падают и разбиваются. От грохота я просыпаюсь.

В третьей серии снов президент заставляет меня делать зарядку. Вместе со всеми. Человек сто занимаются в грязи. Он вызывает меня, ставит впереди и говорит, что следующее упражнение покажет на мне. Велит встать на колени. Я не соглашаюсь, везде жуткая грязь, жидкая такая. Он говорит: «Ты же великая Марлен, понимаешь! Что для тебя эта грязь!» И вы знаете, это действует! Я встаю на колени, прямо в грязь — и вся толпа повторяет за мной. Руки мы тоже опускаем в грязь. А президент говорит: «Сейчас мы будем разучивать новое упражнение “Великая Марлен поднимается с колен”!» И показывает мне жестами, как надо вставать. Я пытаюсь, но не получается. Снова падаю в грязь, и все сто человек — тоже. Тогда президент злится, сам встаёт на колени и говорит: «Смотрите и учитесь!» И сам валится в грязь! Все так громко смеются, что я просыпаюсь.

Сны превратились в какое-то сумасшествие. Я жутко не высыпалась, просто жутко! Мне даже приснилось, что президент предлагает выйти за него замуж! Я уже замужем! Я изменяю мужу? Он же ничего не знает о моих снах!

Я стала спрашивать у знакомых, снится ли им что-то такое. Оказалось, многим снится. Это очень страшно. Очень. Может, политиканы запускают программы по управлению нашими снами? Вдруг президент снится каждому, но все молчат? Вдруг нами управляют через сны? Политики до того запудрили нам мозги, что деваться некуда! (*Прислушивается к залу, улавливая вопрос.*) Что снится? Некоторым дамочкам, например, снится, что они любовницы президента. У меня никогда не было таких фантазий. Одна знакомая во сне высказывала президенту, что её платье плохо поглажено, и он поручил помощникам разобраться. Другая вообще возомнила себя провидицей. Ей снилось, что президенту объявили импичмент. Правда, через месяц всё так и произошло, но кто знает, может, она врёт?

Стала читать толкования. Как вам нравится: президент снится к успеху. А вот если говорить с президентом во сне — к разочарованию. Один пишет одно, другой — второе. Вы уж договоритесь, ребята!

Я решила всё рассказать мужу, но боялась, что он разозлится. Он же у меня либерал, видите ли, президента не переносит. Получается как бы двойная измена. Мало того, что с другим мужиком во сне вижусь, так ещё и с мужиком другой политической ориентации!

Но Анастасия посоветовала психиатра. Тот предположил, что президент снится из-за чувства вины — за то, что я уехала из страны. Но это пусть он других дурачит, у меня никакого чувства вины не было. Я скучала по сыну, а не по стране.

Другой врач сказал, что такие сны означают мое навязчивое желание забеременеть. Полный бред. Мы снова и снова искали психиатров, но все консультации были бесполезными. Анастасия узнала про старуху, которой всё время снился Николай Второй. Будто он никогда не умирал, а выжил в том кошмаре. Говорят, эта старуха хорошо разбирается в снах. Мы пытались её найти, но не получилось.

Мне удалось убедить мужа, что я нервничаю из-за проблем на работе. Хотя он явно что-то подозревал. Я даже курить начала. Стала пробовать снотворное, но от него болела голова. Пришлось бросить. Подумала тогда, что единственный выход из этого кошмара — самой стать президентом. Президенту же не снится президент?

Один умник-психиатр посоветовал клин клином вышибать. Изучи, говорит, чью-нибудь персону. Читай про этого человека, чтобы кем-то новым перебить свои сны. Нужен был кто-то приятный, ведь если сработает, то сниться будет часто.

Мне всегда нравилась Катрин Денёв. Элегантная такая, нежная. Оказывается, у неё есть дочь от Марчелло Мастрояни, вы знали? А ещё её как-то назвали кусочком льда в стакане виски. Хотела бы я, чтобы меня так назвали хотя бы раз. Хотя на кусочек я не похожа. Кусок. (*Марлен не слышно, она трясёт микрофон.*) *Scheisse*[3]! Да что такое снова с этим микрофоном? (*Микрофон включается.*)

Каждый день читала про Катрин Денёв. В итоге, президент стал сниться вместе с ней. То на катере щебечут, то шампанское пьют. То она парикмахер, и он пришёл к ней стричься.

И главное — меня никто не замечал. Если вы мне снитесь, то поговорите, в конце концов, со мной. Это было ещё хуже, чем когда он снился без неё.

Но президент снова стал сниться один. (*Прислушивается к залу.*) Что? Да, конечно, я пробовала разные методы. Друг посоветовал: ты перед сном мысленно посади президента в самолёт и отправь его подальше. Он так делает, когда тёща на него орёт. Представляй, говорит, что ты диспетчер, и наблюдай, как самолёт удаляется. Когда точку не будет видно, тогда и заснёшь. Я сажала президента в самолёт, проверяла, хорошо ли закрыты двери, и желала ему счастливого пути. Куда я только его ни отправляла — и в Англию, и в Эквадор, и в Кению, и в Торонто, и в Рейкьявик — бесполезно. Он снова прилетал ко мне. (*Пьёт воду.*)

Потом началось самое интересное. Я поехала в Москву к внучке на день рождения. Неделю жила у сына и его жены. За ту неделю — ни одного сна! Я спала целыми днями, сын даже заволновался. Уезжать из Москвы не хотелось.

---

[3] Дерьмо.

Когда вернулась в Берлин, то в первую ночь спала, как в Москве. А в следующую — всё сначала. Записала этот сон. (*Надевает очки, смотрит в блокнот, снимает очки.*) Президент говорил с кем-то по телефону и не видел, что я стою сзади. Речь шла о политических делах. Судя по тону, очень важных. Я хотела уйти, чтобы не подслушивать. Но вдруг заметила, что стою на гальке. Если зашевелюсь, то президент услышит меня и подумает, что подслушиваю.

Он продолжал говорить, а потом положил трубку и обернулся. У него было лицо Моны Лизы. Я испугалась, а он спокойно так спрашивает: «Думаешь, я не настоящий?» Я говорю, настоящий, конечно. А он продолжает: «Тогда почему ты меня проверяешь?» И всё это — с лицом Моны Лизы. Я говорю, что не проверяю, что я здесь случайно. Потом он спросил, нет ли кого за мной. Я сказала, что нет. Тогда он закрыл дверь изнутри, подозвал меня к себе и шёпотом сказал: «Это — копия. Оригинал — в Лувре». Сразу проснулась.

(*Прислушивается к залу.*) Да, хорошо, что вы спросили. Я тоже думала об этом. Возможно, дело в нашей берлинской квартире. Может, там что-то с аурой. Бабка у мужа была со странностями. Всю квартиру увешала картинами с жуткими существами. Где она их только брала? Запретила выкидывать или продавать. До сих пор лежат в шкафу. В общем, я решила неделю пожить у подруги. Муж как раз уехал во Францию в командировку.

Первые два дня в новой квартире мне не снилось ничего. Но потом опять началось. (*Надевает очки, смотрит в блокнот, снимает очки.*) Два раза за ту неделю приснился. Один раз — он принимал у меня экзамен по истории. Попросил назвать подряд десять правителей России. Какого черта, я уже не школьница! Я растерялась и почему-то поставила Николая Второго после Горбачёва. Странно, но во сне я была уверена, что права. Президент направил меня на пересдачу.

Второй сон в ту неделю — про Москву. Как будто я иду по набережной, издалека замечаю памятник Петру Первому. А когда подхожу ближе, понимаю, что это памятник президенту. Вдруг статуя ожила, и президент спросил, к нему ли на приём я пришла. Сказала, что нет. Просто шла мимо. Спросила, где Пётр

Первый. Он говорит: «Его здесь не стояло». Я ответила: как — не стояло, у меня ещё муж подписывался против этого памятника. Он спрашивает: «Кто такой Пётр Первый?» Я говорю: как кто? Пётр Первый — первый император и последний царь. Тогда он улыбнулся и сказал: «Вы что-то путаете, у нас никогда не было никакого Петра Первого».

В общем, сны продолжались. Значит, дело не в квартире. И опять совпало: через несколько месяцев я снова гостила у сына в Москве, и там ничего такого не происходило.

Я не из пугливых, но мне становилось не по себе. Выкуривала по пачке в день. Потом всё стало ещё хуже. Однажды во сне я назвала мужа именем президента, и не один раз. Он взбесился, очень ревнивый. Спросил, есть ли у меня кто-то, я не выдержала и рассказала правду. Он рассмеялся. Сказал, что это отговорки и я кого-то скрываю.

Думал, что я завела немца, хотя имя у президента совсем не немецкое. Ещё сказал: «Значит, русский немец тебя не устраивает? Захотела настоящего?» Подозревал, что у меня появился кто-то с работы. Я рассказала, что в России мне эти сны не снятся, попросила его на время вернуться в страну, но он назвал меня сумасшедшей. Он не верил ни одному слову. Я сама начинала верить, что схожу с ума.

Муж куда-то ушёл, я места себе не находила. Обзвонила всех его друзей. Даже в России. Никто ничего не знал. Где-то неделю он не приходил, а сны всё продолжались. Как раз в тот период приснился сон, который я никогда не забуду. Там я превратилась в муравья. И все люди оказались муравьями. Мы ползали и не знали, что делать, просто ползали. Когда один муравей приближался к другому, он спрашивал: «Ты не знаешь, что делать?» Тот отвечал: «Нет». И полз дальше. Всё происходило как будто в лесу, вокруг гигантского муравейника. Но по краям леса стояли гладкие толстые деревья. Сплошняком. И как только кто-то начинал карабкаться на дерево, тут же соскальзывал. Потом пошёл слух, что где-то есть большой, самый главный муравей, который знает, что делать. Все хотели к нему попасть, но никто не смог. А у меня получилось. Там действительно сидел гигантский муравей, но у него было лицо президента. Подползаю к нему, рядом микрофон. Кричу в микрофон: «Вы не

знаете, что делать?» Тут он зашевелился, прокашлялся и громко, растянуто произнёс: «Убеждён, никто из вас из муравейника не уползёт». И повторял это, как робот: убеждён, никто из вас из муравейника не уползёт. Жутко.

Меня успокаивало только то, что муж вернулся, и мы помирились. Сны продолжались, но больше я о них не заикалась.

Но потом началось вообще чёрт-те что. Я заметила среди вещей мужа какую-то атрибутику. Знаете, такую, как на студенческих демонстрациях. Видела у моих студентов подобные вещи. Тогда я не разбиралась, что это за символика. Муж сказал, просто побрякушка. Он был какой-то странный, не отвечал на звонки.

А потом я увидела такую символику у студентки. Оказалось, антиглобалисты, или как их там. Всемирный карнавал против капитализма, можете себе представить. Со своей идеей они как курица с яйцом носились. Наивные! Почему бы им прямо сейчас не записаться в ясли? Та студентка пригласила меня на демонстрацию в Кёльн, там как раз собирался саммит Большой восьмёрки. Мне было не до Кёльна. В тот день я хотела проследить за мужем, и я пошла за ним. Он сел в какой-то автобус с молодёжью, и мне тоже удалось влезть.

Знаете, куда приехал автобус? В Кёльн! И мой благоверный сидел рядом с той самой студенткой. На демонстрации в Кёльне они размахивали флагами, кидали бутылки, камни. Я не могла поверить, что он там. Тысячи людей. Чистенький либерал, который, даже потрогав газету, моет руки. Я не могла поверить, что я там. Среди орущей толпы.

Потом они пошли в парк. Я подобрала полусломанный флаг и тоже пошла на сборище, хотя хотелось помыться. В парке муж тёрся рядом с этой девкой, они ржали как ненормальные. Она стала толкать речь. Устроила, в общем, карнавал против капитализма. Хуже всего, что она моя студентка. Муж слушал её, раскрыв пасть. Он давно на меня так не смотрел. Он просто сиял. Как сумасшедший фанат этой девчонки. Я глазам не верила. Все эти люди — они что, правда верят в то, что могут изменить мир? Бедные угнетённые страны. Кто их пожалеет? Разрыв доходов богатых и бедных. Мир несправедлив. Да, мир несправедлив, чёрт побери!

Я ушла оттуда, не хотела, чтобы меня заметили. Оказалось, что эта студентка — один из лидеров движения. Решила пока ничего не говорить мужу, хотела всё обдумать. Капиталист хренов, а всё туда же! За справедливость, за мир! Сколько лет ты зарабатывал на таких, как они? Сколько марок на твоём банковском счёте? Называл справедливость утопией. А теперь, вы посмотрите на него — машет флагом!

Сны продолжались, но это уже не так занимало. Я пыталась понять, что происходит с мужем. Вдруг он устроил всё из ревности и просто хочет меня проучить?

Больше всего меня пугало то, что моя жизнь рушится из-за какого-то антиглобализма, о котором я и понятия не имела. А муж всё время спрашивал, как я могу быть такой аполитичной, ведь я преподаватель. Говорил, что я должна воспитывать молодёжь. Учить её отстаивать свои права. А мне плевать на права! Плевать на молодёжь! Я хочу, чтобы меня никто не трогал! Если бы всё рухнуло из-за того, что я понимаю, то ещё куда ни шло! Но если всё летит в тартарары из-за необъяснимого, из-за какого-то антиглобализма, то как дальше жить?

Однажды я отправилась на конференцию в Мюнхен, но из-за недосыпов перепутала даты и приехала на вокзал на день раньше. Когда вернулась домой, то застала их там. Он привёл к нам ту самую студентку. Они занимались антиглобализмом прямо на нашей кровати. Она кричала по-немецки, а он пыхтел, как старый паровоз. Мне даже показалось, что вокруг стоят люди и подбадривают их, как на демонстрации. И эти звуки, эта возня. Они потом долго стояли у меня в ушах. (*Пауза.*)

Я ушла, они меня не заметили. Если бы мне сказали, что я буду молчать в такой ситуации, просто развернусь и уйду, я бы не поверила. Но я сдержалась, это была моя хитрость, если хотите. Мне ещё мать говорила, когда отец загулял: с молодостью соперничать бесполезно. Нет ничего сильнее молодости, жизни. Нет ничего сильнее молодой ярости. Их не остановить. Всё равно, что пытаться обогнать гоночную машину на лошади. И всё — из-за дурацких снов. Видимо, муж настолько был уверен в моей измене, что у него крыша поехала. Даже бизнес забросил.

А потом меня совсем понесло. (*Пьёт воду.*) Человек на многое готов пойти, только чтобы его жизнь оставалась такой, как прежде. Не скажу, что мне стыдно за то, что я сделала. (*Её снова не слышно, она дёргает микрофон, и тот начинает работать.*) Да что такое сегодня с этим микрофоном? Scheisse! Что такое?!

В общем, однажды я сообщила в полицию, что их ячейка антиглобалистов затевает что-то незаконное в Берлине. Что студентка — одна из зачинщиц. Что она наркоманка, а в её квартире трутся дружки-наркоманы. Я всё выдумала. Подкинула бумажку с адресом этой девки в полицию. Мне хотелось, чтобы у неё начались проблемы.

Полиция приехала и забрала их с моим мужем. Быстро отпустили, ничего не нашли. В тот раз он пришёл ночью, уставший, даже испуганный.

Я не знала, как вернуть мужа. Сны остановить не могла, но надо было что-то делать. Тогда я решила стать такой же, как они. Стала читать новости. Меня от них тошнило, но я пыталась. Мы даже иногда обсуждали с мужем события в Югославии. Стали больше разговаривать.

Но потом эта студентка, эта Кристин, стала рейвершей, или как их там. Те, что на лавпараде в Берлине трясутся. И муж подался за ней.

Я даже пошла на этот лавпарад, чтобы убедиться. Больше миллиона человек! Он там скакал с ней, как будто ему двадцать три. А мои сны продолжались. Сколько женщин лежат в своих постелях с мужьями, а снится им президент? Сколько таких?

Мужа было не узнать. Его больше ничто не волновало. Мне приходилось делать вид, что ничего не знаю. Я не хотела с ним расставаться. К тому же, он часто задавал вопросы о разных мужчинах, и я понимала, что он всё-таки ревнует. Значит, ещё любит.

Меня только настораживало, что со своей девкой он просто чокнулся. Даже татуировку сделал. Внизу на ноге. Татуировку с затмением. Как раз тогда затмение случилось, и многие с катушек слетели. И эти двое тоже. Спал в носках, думал, не замечу. Наверное, она его надоумила. Сама вся в татуировках. Всё это — полное затмение. Но, в отличие от солнечного, оно не прекращается.

Я говорю ему, ты знаешь, что творится в Югославии? Спрашиваю, ты знаешь, что происходит в Чечне? Ты это знаешь? Ты знаешь, что Лихачёв умер? Тебя не возмущает, что Нобелевку по литературе дали Гюнтеру Грассу? Нет?

Только сказал, что его возмутит, если когда-нибудь Нобелевку не дадут Пелевину. Я говорю, за что ему Нобелевку? Его Generation P вообще читать невозможно, какая-то пародия на литературу. А он отвечает: «Никто так талантливо не хоронил средний класс!» Да ты сам ходячая мумия среднего класса, ты посмотри на себя! (*Пьёт воду.*)

Он ходил с этой девкой по вечеринкам и делал вид, что ничего не происходит. Мне казалось, что он проводит надо мной эксперимент. Я была уверена, что он любит меня. Один раз он даже устроил сцену ревности, когда увидел меня с коллегой в кафе.

Думала, может, мне изменить ему? Только уже на самом деле! Или хоть во сне — с президентом! Может, тогда он очнётся? Эти сны... Они стали чем-то вроде надежды. Как будто я не одна, а у меня есть человек, с которым меня что-то связывает. Пусть даже что-то ненормальное.

Единственное, что мужа взбудоражило осенью, — взрывы домов в России. Он даже просил сына с семьёй переехать в Берлин, но они не согласились. Организовали дежурство по ночам, следили за машинами. Сын тоже постоянно дежурил. Пахал как лошадь. Внучка рассказывала, как всё время смотрит в окно и молится, чтобы никакая машина не сворачивала в их двор. И следит, кто выйдет из машины, и папке всё говорит. Даже машин во дворе стали бояться, даже машин...

И ты вот так сдашься, спрашивала я. Не будешь уговаривать сына переехать? А он отвечал, что у сына своя жизнь.

Я не знала, куда мне деваться. Хотела вернуться в страну, но меня там никто не ждал. У сына своя семья, зачем я им. Так привыкла к мужу, что не могу представить жизнь без него.

О снах уже и забыла. Но потом они изменились. Президент стал просить моей помощи. Поводы были самые разные. Однажды ему предстояли важные переговоры, и он спросил, какой галстук надеть. Ушам не поверила: разве это так

важно? Зачем он спрашивал меня о таком пустяке? Я выбрала ему красный галстук. А потом в новостях увидела, что на переговорах он сидел именно в красном галстуке. Подумала, если буду ему помогать, может, он, наконец, от меня отстанет. Но так происходило много раз: какой пиджак ему надеть, кого наградить премией, с кем встречаться, а с кем — нет. В новостях всё было именно так, как я выбирала.

Думала, это совпадение, но потом вошла во вкус. Говорю президенту: буду вам помогать, если вы будете делать то, что я хочу. Президент вяло, но кивнул. Мне подтянули грудь в лучшей клинике! В лучшей! (*Машинально выпрямляется, выставляя грудь.*) У этой его девки грудь обвиснет, а на новую — откуда деньги у демонстрантки? А у меня будут! Я прошла все процедуры по омоложению. Чтобы хоть как-то вернуть мужа к делам, попросила у президента инвестиций. Деньги в бизнес мужа текли рекой. Я управляла реальностью! С моим выбором считались! Денег становилось всё больше! Мы купили огромный дом, я купалась в бассейне с видом на лес и сверкала своей новой грудью.

Сказала, хочу стать профессором — стала! Отныне в моём квартале в Берлине всегда было солнечно. Вы, наверное, читали об этой аномалии, да? Всегда плюс двадцать пять, даже зимой, слышали? А потом и по всей Европе. Жарко вам стало? Снега хочется? (*Истерически смеётся.*) Моих рук дело! А вы всё про глобальное потепление!

Но пришло время и о стране подумать. Сказала президенту, что надо создать антикоррупционный комитет — создал! Сказала, надо закрепить выборность губернаторов — закрепил! Идеи появлялись одна за другой — налоги, борьба с нищетой... Но для страны я почти ничего не успела сделать — начался полный кошмар.

Президент больше не хотел исполнять мои желания. Во сне он вызвал меня в кабинет. Я открыла дверь — оттуда подул ветер со снегом. Весь кабинет утопал в снегу. Президент сидел за столом, в шапке и тулупе. На столе — ещё один тулуп. Надела, я просто дрожала от холода. «Надоел я тебе, да?» — спрашивает. «Да сколько можно уже!» — говорю. Тогда он посмотрел в глаза:

«Вон как разогналась, понимаешь! Хватит в цацки играть! Не для этого тебе снюсь! Теперь дело серьёзное. Поможешь — перестану сниться». Мне надо принять решение, говорит. Оставаться на посту или уйти в отставку. Тут я действительно испугалась. Одно дело — галстук выбрать, другое — страну без президента оставить. Но он стал требовать: да или нет.

С одной стороны, если это правда, и по моему решению он больше не будет президентом, значит, сны прекратятся. Ведь он уже не президент. С другой — разве может у страны не стать президента из-за какого-то сна? Решила поиграть и сказала, что ему пора в отставку. Конечно, я думала, что ничего не произойдет.

А на Новый год... на Новый год муж позвал меня из гостиной, он кричал. По телевизору шли новости. Муж говорит: «Сейчас в анонсе такое сказали, смотри!» (*Микрофон снова заедает, Марлен ударяет его сильнее.*) Будешь ты работать сегодня или нет? Будешь или нет?! (*Микрофон включается.*)

Вдруг в немецких новостях показывают президента России. Как он тридцать первого декабря обратился к народу. У него было странное лицо. Грустное. Президента переводили на немецкий, но я слышала, что он говорил по-русски. Он сказал, что в последний раз обращается как президент и что уходит в отставку. Что он просит прощения. И что исполнять его обязанности будет премьер. Я не могла поверить! Я сменила президента страны? Это я решила? Даже не могла сказать обо всём мужу, он бы снова посчитал меня сумасшедшей. (*Прислушивается к залу.*) Да, сны прекратились, верно. Нет президента — нет снов. Но я рано радовалась.

Президент, уже тогда бывший, снова мне приснился. Опять в том снежном кабинете. Говорит: «Не верила, что ты решаешь? Теперь тебе последнее задание. Поможешь — точно не буду сниться. Выбрать преемника мне надо. Который победит на выборах в марте». И вынимает из ящика стола три фотографии. Там какие-то мужчины в костюмах, я их не знаю. Кроме одного. Премьер, который исполнял его обязанности. Видела это лицо в новостях.

Бывший президент показывает фотографии и говорит: «Вот, из них надо выбрать. Кого ты выберешь, тот и будет следующим президентом». Я говорю, что вообще не слежу за политикой. Не знаю, кто есть кто. И вообще, выбирать должны все жители страны, а не я одна! Почему я одна должна решать за всех? Он отвечает: «Люди! Ты хорошо подумай. Ответишь в следующем сне». В кабинете пошёл снег. Я ещё подумала, как при таком красивом снеге можно на это согласиться? Как будто я предаю свою страну. Всё решить самой, не спросив её.

Я заставляла себя не спать несколько дней, чтобы подумать. С одной стороны, у меня был шанс наконец избавиться от снов, вернуть контроль над своей жизнью и вернуть мужа. Жить, как раньше. С другой — президент будет сниться мне всю жизнь.

Не хотела выбирать. Почему я должна делать выбор? Почему именно я? Почему люди вообще должны делать какой-то выбор? У нас демократия? Тогда я могу делать, что хочу. Например, не выбирать. Но нас всех заставляют, независимо от того, хочешь ты этого, чёрт побери, или нет! Наше право не выбирать игнорируют! Эти политики никак не могут понять, что заставлять людей выбирать — такая же диктатура, как и ограничивать их выбор! Абсолютно то же самое!

Я держалась пять ночей, но потом уснула. Самое страшное, что той ночью я снова назвала мужа именем бывшего президента. Муж был в гневе. Сказал, что если такое повторится, он уйдёт.

В конце концов я решила, что всё это бред. Такая игра. Я просто выберу во сне кого-то из трёх кандидатов, и сны прекратятся. А прошлые разы — совпадения. Не изменится же в стране президент из-за того, что я кого-то выберу во сне? Такого просто не может быть. Муж опять со мной не разговаривал. Я не могла этого выносить.

Бывший президент снова приснился. Но кабинет уже другой, с бассейном. Жара жуткая, пальмы. Президент лежал на шезлонге в халате. «Ну что — выбрала?», — спрашивает. «Дайте я ещё раз на них посмотрю, — говорю. — Где фотографии?» — «А зачем нам фотографии, — продолжает президент. — Вот

они, все тут». И показывает рукой. Я оборачиваюсь, а там все трое, что были на фото. Тоже на шезлонгах. И тот, который исполнял обязанности. «Выбирай», — говорит бывший. Я сказала, что даже не знаю, кого выбрать. «Смотри-ка, сопротивляется», — засмеялся он. Тогда тот, который исполнял обязанности, сказал: «В одном итальянском фильме есть такая фраза «Настоящий мужчина должен всегда пытаться, а настоящая женщина должна сопротивляться»». Бывший засмеялся и добавил: «Ты же Марлена — Маркс плюс Ленин. В тебе кровь кипеть должна! Выбирай тогда того, кто симпатичнее».

Мне никто не был симпатичен, но я хотела скорее всё закончить. Такое чувство, что они издевались надо мной. Их кожа блестела от жары, казалась липкой. Пе́кло. Я не знаю, как они там так спокойно лежали. Решила выбрать наугад. Указала на крайнего справа.

Каждую ночь я снова ждала, что мне будет сниться президент. Но он не снился! Я наконец-то стала высыпаться, уделять больше времени мужу. Всё наладилось. Я снова вернула жизнь в свои руки. Сына, правда, так и не удалось уговорить к нам перебраться. Купил там иномарку, радуется как дитя.

Мы с мужем даже прошлогодние выборы в Госдуму обсуждали. Такого никогда не было! Он разозлился от победы коммунистов, всеми руками поддерживал этот, как его, Союз новых сил. Нет, Союз правых сил. А я ему говорю, ты совсем не знаешь свою страну, совсем не знаешь, какой Союз правых сил? Я стала забывать про эти сны. Но выборы в марте ждала. И вот тут вся моя жизнь покатилась коту под хвост. (*Пьёт воду.*)

Всё произошло в один день. Точнее, в одну ночь. Я снова застала их в нашей кровати. Мужа и Кристин. Я не могла поверить. Мне казалось, что он любит меня, но оказывается, всё это время... всё это время я не видела даже того, что творится у меня под носом. Жизнь никогда мне не принадлежала. (*Пауза.*)

Я заорала как сумасшедшая. Они так испугались, что подпрыгнули над кроватью. Я била её сумкой, била руками. И такая упругая грудь, что хотелось бить ещё сильнее. Муж пытался оттащить меня за волосы. Он всё повторял, что не решался от меня уйти. Думал, что я этого не перенесу. Тварь. Трус, даже признаться не смог. (*Пьёт воду.*)

Когда они ушли, я ревела, напилась и включила ящик. Там как раз шли новости, говорили про итоги выборов в России. Победил тот, который исполнял обязанности. Тот, который исполнял обязанности, а не тот, чёрт возьми, которого я указала во сне, понимаете? Почти пятьдесят три процента голосов! Пятьдесят три! Я выбросила ящик в окно. Он же говорил, что я решаю! Что — я! — решаю! А никто ничего не решает! Я такая же *Dummerchen*, как и они все! Эти сосунки! Эти хреновы сосунки! Нам дают выбрать цвет галстука, а остальное решают сами! Кучка главных, которая нас за людей не считает! А мы верим! Мы ведёмся на галстук, как на красную тряпку, а это всего лишь отвлекающий манёвр! Верим во все эти игры, во всё это дерьмо!

Но хуже всего, что мне снова стал сниться президент. Но уже новый! Пятидесятитрёхпроцентный! Снится и снится! *(Микрофон отключается, Марлен снова бьёт и бьёт микрофон, хотя она орёт так громко, что микрофон ей не нужен.)*

Мне снится не тот, кого я выбрала! Я не контролирую ни свои сны, ни этот чёртов микрофон! Из-за этих снов моя жизнь полетела к чёрту! Я повышаю гонорары вдвое, только верните мне контроль над моей жизнью! Верните! Я заплачу вдвое больше! Слышите? Втрое! Я хочу выспаться, выспаться, выспаться! Хочу забыть всё это! Хочу видеть сны, которые я хочу! Хочу жить так, как я хочу! Хочу сама решать, как жить! Сама!

*Микрофон включается очень громко, издаёт неприятные скрипящие звуки, и пока Марлен говорит, что хочет жить сама, микрофон говорит совсем другое и смеётся: «Dummerchen! Dummerhen! Dummerchen!» И вот уже голос Марлен всё тише, а микрофон — всё громче.*

ЗАТМЕНИЕ

# Сведения об авторах

**АЛЕКСАНДРА АРТАМОНОВА** (1987, Калининград). Прозаик, эссеист, журналист. В Балтийском федеральном университете им. Канта получила филологическое образование, в петербургском благотворительном Фонде культуры и искусства *Про Арте* окончила курс «Культурная журналистика». Координатор международного фестиваля актуальной поэзии *Слоwwo*. Тексты переводились на литовский и польский языки. Живёт в Калининграде.

**ГОТФРИД БЕНН** (*Gottfried Benn*; 1886, Бранденбург – 1956, Берлин). Поэт, эссеист, представитель немецкого литературного модерна. Родился в семье протестантского пастора. В детстве и юности вследствие занимаемого отцом положения и сана общался с детьми аристократов, но в связи с малым достатком семьи испытывал комплекс неполноценности, оказавший влияние на дальнейшую жизнь и творчество. Окончив гимназию во Франкфурте-на-Одере, обучался вначале теологии и философии в Марбурге, затем филологии, и с 1905 года года в военно-медицинской академии в Берлине. В 1912 году под влиянием опыта, полученного в качестве военного врача, издал первый сборник стихов под названием «"Морг" и другие стихи», принёсший ему скандальную известность. В годы Первой мировой войны служил врачом на фронте. С восторгом приняв поначалу национал-социализм, впоследствии разочаровался в нём, что открыто высказывал в письмах. В 1938 году был исключён из Союза писателей рейха, получив запрет на занятие литературным трудом. После войны активно публиковался, написав большое количество стихов, эссе и литературоведческих работ.

**НАТАЛЬЯ БРАЗОВСКИ** (1977, Мамлютка). Поэт, психолог, эзотерик. По образованию экономист. Публиковалась в журнале «Европейская словесность». В интернете выступает под псевдонимами Три Строфы Над Уровнем Моря, Запах Звёзд и другими. В Германии с 2003 года. Живёт в Лемго.

**ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЁТЕ** (*Johann Wolfgang von Goethe*; 1749, Франкфурт-на-Майне – 1832, Веймар). Великий немецкий прозаик, поэт, философ, государственный деятель. Родился в семье адвоката. После нескольких лет в школе воспитывался восемью

домашними учителями и вышедшим на пенсию отцом. Овладел латынью, греческим, французским, итальянским, английским, ивритом и идишем. Играл на рояле и виолончели. Уже в четырёхлетнем возрасте Гёте показывал дома выученные наизусть пьесы в подаренном ему кукольном театре, сочинял и рассказывал сказки собственного сочинения. Много читал. Окончил юридический факультет Лейпцигского университета. С 1771 года работал в юридической конторе, занимаясь также литературой. В 1774 году под влиянием первых любовных разочарований написал имевший широкий успех роман «Страдания юного Вертера». В 1775 году по приглашению герцога переехал в Веймар, где работал в должности советника при дворе и прожил всю дальнейшую жизнь. Автор стихотворных и прозаических произведений, баллад и театральных драм. Занимался естественнонаучными изысканиями. На основе своих путевых заметок написал знаменитое «Итальянское путешествие». Наиболее известное произведение Гёте — трагедия «Фауст», над которой он работал в течение всей жизни.

**ТАТЬЯНА ДАГОВИЧ** (1980, Днепропетровск). Прозаик, поэт, преподаватель. В Днепропетровском национальном университете получила филологическое образование, в Мюнстерском университете — философское. С повестью «Продолжая движение поездов» стала лауреатом «Русской премии» за 2016 год. Автор романа «Ячейка 402» (премия «Рукопись года» 2010 в номинации «Оригинальная идея») и сборника повестей «Хохочущие куклы». Публикации в журналах «Новая Юность», «Нева», «Зарубежные Задворки», *Homo Legens*, «Нижний Новгород», в альманахе «Толстый: Всё включено». В Германии с 2003 года. Живёт в Унне.

**АНДРЕЙ ДИТЦЕЛЬ** (1977, Новосибирск). Журналист, переводчик, поэт. Неоднократно входил в шорт-листы литературного конкурса имени Гумилёва «Заблудившийся трамвай», проекта «Эшколь: актуальная израильская и еврейская культура в России» и других конкурсов. Победитель международной «Эмигрантской лиры 2014–2015». Автор нескольких сборников стихов и одного романа («Кентавр *vs* Сатир»). Активист ЛГБТ-движения, отец двоих детей. В Германии с 2002 года. Живёт в Гамбурге и Баден-Бадене.

**МАРИЯ ЖИГАЛОВА** (1951, Брест). Филолог, преподаватель. Доктор педагогических наук, профессор Брестского гос. технического университета. Заслуженный учитель Республики

Беларусь, награждена рядом грамот, премий и знаков отличий. Год жила в Берлине, где проходила постдокторскую стажировку в университете имени Гумбольдта (Институт славистики). Была экспертом Международной программы «Лингвистическое образование в Европе» (Австрия, Чехия, Германия, Польша). Автор более двухсот научных трудов, изданных в десяти странах мира, среди них книга «Немецкие страницы жизни и творчества русских поэтов-эмигрантов XX века в мультикультурном образовательном пространстве» (Яссы, Румыния, 2010) и монография «Германия в судьбе и творчестве русских поэтов-эмигрантов XX века. Интерпретация и анализ: теория и методика» (Берлин, 2011). Живёт в Бресте.

**АНДРЕЙ ЗЯТКОВСКИЙ** (1986, Николаев). Прозаик. Окончил математический и социологический факультеты университета имени Гумбольдта, работает аналитиком в сфере здравоохранения. На страницах литературного журнала публикуется впервые. В Германии с 2003 года. Живёт в Берлине.

**ВЛАДИМИР КАМИНЕР** (1967, Москва). Писатель, журналист. В Москве окончил Театрально-художественное училище. Регулярно публикуется в различных немецких периодических изданиях. Сооснователь впоследствии ставшей знаменитой на всю Германию и за её пределами дискотеки Russendisko. Автор более двадцати пяти книг, написанных по-немецки. Среди книг: *Russendisko* (2000), *Schönhauser Allee* (2001), *Das Leben ist (k)eine Kunst* (2015) и многие другие. В Германии с 1990 года. Живёт в Берлине.

**КСЕНИЯ ЛАПИНА** (1980, Биробиджан). Прозаик. Училась в Волгоградском университете. Окончила Университет прикладных наук Гамбурга по специальности «социальный работник». На страницах литературного журнала публикуется впервые. В Германии с 2001 года. Живёт в Берлине.

**ИРИНА ЛИБЕРМАН** (1986, Харьков). Поэт, прозаик, преподаватель, журналист, переводчик. По образованию филолог. Участник проекта *Russian Poetry Jam*. Ряд публикаций в немецких, российских и прочих литературных изданиях, статьи в русскоязычной прессе ФРГ. В Германии с 2004 года. Живёт во Франкфурте-на-Майне.

**АЛЕКСЕЙ МЕДВЕДЕВ** (1976, Пермь). Учился в Перми, Мюнстере и Загребе по специальностям «Немецкая филология», «Менеджмент туризма» и «Менеджмент европейского образования». Кандидат филологических наук. Работал в московском Гё-

те-институте, Университете дружбы народов (РУДН), а также в Пермском госуниверситете. Стипендии *DAAD*, Гёте-института, Фонда Сороса/*Open Society*, фонда *Fritt Ord* (Норвегия), *Royal Bank of Scotland* (Великобритания). С 2007 года работает в гамбургском Центре по вопросам дополнительного образования и трудоустройства (*KWB*). Автор около пятидесяти публикаций, многолетний опыт выступлений на конференциях в Германии и за её пределами. В Германии с 2007 года. Живёт в Гамбурге.

**АНЖЕЛИНА ПОЛОНСКАЯ** (1969, Москва). Поэт, прозаик. Член Русского ПЕН-центра, Союза писателей Москвы. Автор семи сборников стихотворений и сборника рассказов. Стипендиат фонда Рокфеллера. Специальная стипендия по литературе *Akademie Schloss Solitude* (Штутгарт). Шорт-лист *Corneliu Popescu Prize* для европейской поэзии в переводах, 2005 (Англия). Шорт-лист 2014 *PEN Award for Poetry in Translation, Best Translated Book Award* 2014 (США). В 2014–2015 годах вела литературную колонку «Письма к Сафо» в журнале «Русская Швейцария». Лауреат премии *International Words on Borders´ Freedom* (*Ord i Grenseland*) *Prize*, 2016 (Норвегия). Переведена на иностранные языки. Живёт во Франкфурте-на-Майне.

**РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ** (*Rainer Maria Rilke*; 1875, Прага – 1926, Вальмонт). Один из крупнейших и наиболее влиятельных немецких поэтов, представитель течений неоромантизма и модернизма. Принадлежал к старинному аристократическому роду, имел австрийское подданство. В Праге изучал литературу, историю искусств и философию. Продолжил обучение в Берлине и Мюнхене. В 1899–90-х годах посетил Россию, где встречался с Львом Толстым. Первый поэтический сборник «Жизнь и песни» вышел в 1894 году. Кроме стихов написал нескольких рассказов, роман, эссе и переводы, в том числе из Микеланджело и Петрарки. Во время Первой мировой войны жил в Швейцарии, затем длительное время во Франции. Был другом и личным секретарём Родена. Много путешествовал. Состоял в интенсивной переписке со многими философами, деятелями искусств и литераторами, в том числе с Мариной Цветаевой. Умер в Швейцарии от лейкемии.

**АЛЕКСАНДР СНЕГИРЁВ** (1980, Москва). Прозаик. Учился в Московском архитектурном институте, окончил Российский университет дружбы народов по специальности «политология».

Автор восьми книг — четырёх романов и четырёх сборников рассказов. Лауреат премий: «Дебют» (2005), «Венец» (2007), «Эврика» (2008), «Звёздный билет» (2014), «Русский Букер» (2015). Финалист премии «Национальный бестселлер» (2009, 2015). Лучший российский прозаик по версии «НГ Exlibris» (2010, 2013). Тексты переведены на ряд языков, включая английский, французский и немецкий. Живёт в Москве.

**СЕРГЕЙ СТРАХОВ** (1956, Киев). Профессиональный переводчик. По образованию инженер-строитель. Стажировался в Дюссельдорфе и Нью-Йорке. Помимо прочего, работал в гамбургской газете *Moskauer Börsenbrief*. Публикации в изданиях *Hamburger Mozaik, Hamburg und Wir, Slovo* (Гамбург), «Пенаты» (Лейпциг), *Impuls* (Киль). Автор текстов к двум CD-проектам. В Германии с 1999 года. Живёт в Киле.

**АЛЕКСАНДР ТАРАНОВИЧ** (1955, Минск). Прозаик, искусствовед, журналист, художник. Окончил Белорусскую академию искусств. Десятки публикаций в печатных и сетевых журналах и альманахах разных стран. Автор нескольких книг прозы и ряда теоретических работ по современному искусству. В Германии с 1998 года. Живёт в Берлине.

**ФРАНК ТРАЙБМАН** (*Frank Treibmann*; 1975, Берлин). Критик. Изучал историю, русистику, литературу и языкознание. Работает как автор-фрилансер. Живёт в Берлине.

**КУРТ ТУХОЛЬСКИ** (*Kurt Tucholsky*; 1890, Берлин – 1935, Гётеборг). Писатель, поэт, журналист. В 15-летнем возрасте потерял отца, который оставил семье значительное состояние, позволившее Курту получить юридическое образование в Берлине и Берне. Ещё в университете занимался журналистикой, интересовался литературой. Во время Первой мировой войны на Восточном фронте издавал полевую газету. После войны стал убежденным пацифистом. В годы Веймарской республики в статьях протестовал против политических убийств, в том числе Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Как и его кумир Генрих Гейне, способствовал взаимопониманию между Германией и Францией. Убедившись в бесполезности своей борьбы за демократию в Германии, Тухольски в начале 1930-х годов переселился в Швецию. В 1935 году покончил с собой, не выдержав тягот постигшей его болезни.

**ГАЛА УЗРЮТОВА** (1983, Ульяновск). Поэт, драматург, прозаик. Окончила факультет культуры и искусства Ульяновского госуниверситета. Автор книги стихов «Обернулся, а там — лес» (2015). Публикации в ряде изданий, включая журналы «Современная драматургия», «Гвидеон», «Арион» и других. Лауреат поэтической премии им. Благова, входила в короткий список премии Дмитрия Горчева–2016, в длинный список премии «Дебют», финалист российско-итальянской премии «Радуга». Пьесы побеждали и входили в короткие списки конкурсов «Баденвайлер», «Действующие лица», Волошинский конкурс, «Евразия», «Любимовка» и других. Член Союза писателей Москвы. Стихи переводились на немецкий и английский языки, проза — на итальянский. Живёт в Ульяновске.

**ТАРАС ФИСАНОВИЧ** (1939, Ленинград). Поэт, прозаик. Окончил медицинский и политехнический институты. Хирург, кандидат медицинских наук, автор 75 научных статей и изобретений. Стихи и проза были опубликованы в России, Германии, Греции, Украине, Белоруссии, Израиле. В Германии опубликовал девять книг прозы, стихов, статей об искусстве, литературоведении, философии и о боевых действиях на Баренцевом море в 1941–1944 годах. В Германии с 1999 года. Живёт в Гамбурге.

**ИРЕНА ЦЕРБСТ** (*Irene Zerbst*; 1938, Потсдам). Поэт. Физиолог, зоолог. Изучала зоологию и физиологию в Берлине и Мюнхене. До 1974 года работала в Институте общей зоологии при Свободном университете Берлина. С 1975 года — профессор Института физиологии животных при Свободном университете. С 2003 года на пенсии. Живёт в Берлине.

**ВАСИЛИЙ ЦИТТЕЛЬ** (1977, Магнитогорск). Филолог, кандидат филологических наук, занимался творчеством Фёдора Сологуба. В Германии окончил Университет прикладных наук Гамбурга. Печатался в журналах «Пролог», «Крещатик», «Зарубежные записки», «Интерпоэзия». Организатор гамбургского поэтического слэма. Победитель конкурса молодых поэтов «Ветер странствий» (Рим). В Германии с 2002 года. Живёт в Гамбурге.

**МАКСИМ ЦХАЙ** (1972, Караганда) Прозаик. Член международного союза писателей России, актер и исполнитель трюковых сцен продюсерского центра «ИВАН». Автор двух книг: «Вышибая двери» и «Тяжёлая рука нежности». Публикации в сборниках и альманахах. В Германии с 2000 года. Живёт в Гамбурге.

**СЕРГЕЙ ШАБУЦКИЙ** (1976, Москва). Поэт, переводчик. Окончил филологический факультет МГУ. Публикации в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Иностранная литература», «ШО», «Интерпоэзия», «Зеркало», *Homo Legens*, «Гвидеон», альманахах «Новые писатели» и «Насекомое», в «Новой газете». Участник и ведущий (2010) мастер-класса поэтического перевода на Форумах молодых писателей в Липках. Участник ряда международных фестивалей поэзии. Входил в лонг-лист премии «Дебют» (2011). Автор книги стихотворений «Придёт серенький волчок, а в кроватке старичок» (2016). Стихи переведены на белорусский, фламандский и французский языки. В Германии с 2011 года. Живёт в Бонне.

**МАРИЯ ШЕВЦОВА** (1975, Москва). Филолог. Получила также образование в области финансов. Публиковалась в электронных изданиях «Зарубежные задворки» и *Smart Power Journal*. Живёт в Москве.

**ДАРЬЯ ЭККЕРТ** (1987, Новокузнецк). Прозаик. Училась экономике. Работает декоратором и портнихой. На страницах литературного журнала публикуется впервые. В Германии с 2004 года. Живёт в Берлине.

**МИХАИЛ ЮДОВСКИЙ** (1966, Киев). Поэт, художник. Автор нескольких книг стихов и прозы, в том числе сборника рассказов «Воздушный шарик со свинцовым грузом» (2013). В Германии с 1992 года. Живёт во Франкентале.

# Kurze Zusammenfassung

Das vierte Heft von «Berlin.Berega» eröffnet mit drei Gedichtsammlungen. Sie stammen von **Michail Judowskij** (Frankenthal), **Natalya Brasowski** (Lemgo) und **Wassily Zittel** (Hamburg). Die tragen die Titel „Ich bin nicht hier geboren", „Die fünfte Dimension" und „#selfie".

Der vielleicht bekannteste russischstämmige Autor Deutschlands, **Wladimir Kaminer** (Berlin), publiziert im Rahmen der Rubrik „Übersetzungen" seine neue Erzählung „Das Leben nach der Insel". Es geht um die Frau des Erzählers, die von der Insel Sachalin stammt. Sie glaubt, dass sie überall ihre Kenntnisse über die weltweite Kultur verwenden könne, die Realität sieht jedoch ganz anders aus. Der Text erscheint sowohl im Original auf Deutsch als auch auf Russisch.

**Alexander Snegirev** (Moskau), Träger verschiedener Literaturpreise, u. a. des bedeutendsten russischen Buchpreises „Russischer Booker" (2015), stellt eine kleine Erzählung mit dem Titel „2022" vor. Der Protagonist besucht den Berliner Flohmarkt auf dem Arkonaplatz und führt dort ein recht merkwürdiges Gespräch ...

Das vierte Heft von „Berlin.Berega" präsentiert auch die aus der Ukraine stammende Autorin **Tetyana Dagovych** (Unna). In ihrem Text „*Les droits de l'homme* — Menschenrechte" erzählt Dagovych von einer ungewöhnlichen Versammlung in Strasbourg. Auf den ersten Blick geht es um eine ziemlich langweilige Demo, doch nicht alles ist so einfach, wie es zunächst scheint.

**Anzhelina Polonskaya** (Frankfurt a. M.) und **Andrej Ditzel** (Hamburg) sind mit je einem Gedichtzyklus vertreten. Sie tragen die Titel „Schwärzer als weiß" bzw. „Sommerlicher Fahrplan".

**Maxim Shay** aus Hamburg ist mit dem großen herzergreifenden Zyklus «Erzählungen über den Vater» vertreten. Der Autor lebt in Deutschland, sein betagter Vater auf der Krim. Die kleinen Fragmente sind gleichzeitig Berichte, Beobachtungen und Liebeserklärungen — des Sohnes an den Vater.

Eine weitere Autorin aus Russland, **Alexandra Artamonova** (Kaliningrad), stellt 2 kleine Erzählungen vor: „Die Abzeichen" und „Großvater".

**Irina Liebermann** (Frankfurt a. M.) und **Taras Fisanovich** (Hamburg) beschließen den poetischen Teil von Heft 4. Die Sammlung von Liebermann heißt „Ein Wirkungsort", der Zyklus von Fisanovich ist „Sprechen wir, mein Freund" überschrieben.

Die bereits traditionelle Rubrik «Debüt» macht uns dieses Mal mit drei weiteren Autoren vor bekannt. Sie alle leben in Berlin. **Ksenia Lapina** schrieb die Erzählung „Das Interview", **Andriy Zyatkovskyy** publiziert den Text „Erdstaub", **Daria Ekkert** stellt ihre Erzählung „Das Tier" vor.

Die Rubrik „Übersetzungen" bringt Gedichte von **Rainer Maria Rilke**, **Kurt Tucholsky**, **Johann Wolfgang von Goethe** und **Gottfried Benn**. Sämtliche Texte wurden von **Sergej Strakhov** (Kiel) ins Russische übersetzt.

Der Berliner **Alexander Taranovich** macht dem Stadteil Kreuzberg eine Liebeserklärung. Sein Essay heißt „Poem über den Indianersommer". Es handelt sich um eine hochpoetische Erzählung, obgleich der Text doch eine Art von non-fiction ist.

**Alexei Medvedev**, Philologe aus Hamburg, beschäftigt sich in seinem Artikel mit dem Roman „Symphonie Pathétique" von **Klaus Mann**. Zwar hat K. Mann sein Werk dem russischen Komponisten **Pjotr Tschaikowsky** gewidmet, doch ist der Text in russischen Kreisen kaum bekannt. Der ausführliche und kompetente Beitrag Medvedevs schließt diese Lücke.

**Maria Shevtsova** (Moskau) liest mit uns **Vladimir Nabokov**s ersten Roman „Maschenka" nach. Die Philologin analysiert in ihrem Text die neutestamentlichen Motive, die sie in Nabokovs Text aufgespürt hat.

Professor **Maria Zhigalova** aus Brest (Weißrussland) schreibt in ihrem Artikel über die bekannte russische Dichterin **Marina Zwetajewa** und ihre Verbindung mit Deutschland. U. a. zitiert die Autorin aus einigen Gedichten von Zwetajewa, in denen es um Deutschland geht.

Die Unterrubrik „Rezensionen" enthält diesmal zwei Texte: **Frank Treibmann** (Berlin) bespricht das Buch „Suleika öffnet die Augen" von **Gusel Jachina** (Moskau). Der Autorin wurde 2015 der wichtige Literaturpreis „Das große Buch" verliehen. **Sergey Shabutsky** (Bonn) schreibt über das soeben erschienene Buch *#TriggerWarningPoetry* von **Alexander Delphinov** (Berlin–Köln). Erzählungen und Gedichte von Delphinov wurden bereits früher in „Berlin.Berega" veröffentlicht.

Die Wissenschaftlerin **Irene Zerbst** aus Berlin hat ein Buch über ihren Onkel **Gregor Boroffka** verfasst. Boroffka war Archäologe, lebte in Russland und der Sowjetunion. 1942 wurde er wegen einer falschen Anschuldigung als Spion exekutiert. Das Buch heißt „Leben und Wirken des deutsch-russischen Forschers Gregor Boroffka / Briefe (1913 — 1935) an die Familie aus Russland nach Deutschland". Für „Berlin.Berega" erzählt Frau Zerbst über Gregor Boroffka, sein Leben und ihr Buch. Diese Geschichte ist ein typisches und gleichzeitig ein trauriges Beispiel der Tragödie, die das deutsche und das russische Volk im 20. Jahrhundert durchlebt haben. Die Narration von Irene Zerbst erscheint in der neuen Rubrik „Monolog".

**Gala Uzryutova**, eine junge Dramatikerin aus Uljanowsk (Russland), ist mit dem kleinen Spiel „Dummerchen" vertreten. Die Protagonistin, eine erfolgreiche Dame, hat fast jede Nacht einen seltsamen Traum, in dem der Staatspräsident die Hauptrolle spielt. Die Dame möchte ins normale Leben zurückkehren, doch stellt sie fest, dass dies nahezu unmöglich ist ...

ISSN 2366-3510 berlin-berega.de